

The book cover features a black background with a prominent gold-colored diamond lattice pattern. A central rectangular frame, also in gold, contains the author's name and the title. The top and bottom edges of the cover are decorated with horizontal gold bands and ornate corner motifs.

ЕВГЕНИЙ ЛЮБАНОВ

ВЕЛИКОЕ СИДЕНИЕ

# Евгений Дмитриевич Люфанов

## Книга царств

*скан, вычитка, fb2 Chernov Sergey*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=160145](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=160145)*

*Е.Люфанов Великое сидение. Книга царств (в 2-х т): Негоциант;*

*Калуга; 1994*

*ISBN 5-87091-003-X, 5-87091-004-8*

### **Аннотация**

Заключительная часть дилогии «Великое сидение». В романе рассказывается о важнейших событиях в Российском государстве, последовавших вслед за смертью Петра I: опале всемогущего А.Меншикова, восшествии на престол, царствовании и смерти вначале Екатерины I, а затем и Петра II, до дней начала царствования императрицы Анны Иоановны.

# Содержание

Глава первая	4
I	4
II	13
III	21
IV	26
V	35
VI	39
VII	49
VIII	59
IX	65
X	81
XI	92
XII	96
Конец ознакомительного фрагмента.	107

# Евгений Люфанов

## Книга царств

### Глава первая



## I

Ни горластые бирючи, привыкшие по улицам и площадям во всеуслышание объявлять о случившемся, ни бабы, сно-

вавшие по городским торжкам и допытливые до всего, и ни унывные колокольные перезвоны еще не оповещали петербургских градожителеев о постигшей народ беде, а уже многие, неведомо каким слыхом наслышанные, знали и говорили, в каком часу ночи скончался царь Петр. Наступали тяжкие, гореслезные дни.

Истомленное болезнью, натертое душистыми смолами и другими снадобьями, тело императора было выставлено в меньшей дворцовой зале, и с утра 30 января народу дозволялось приходидть на поклонение усопшему.

В бытность своей великодержавной жизни строго запрещал государь надрыватьея в печали да голосить по любому венценосному покойнику, ну а теперь запрет на проявление безутешной скорби был снят и верноподданные могли безбоязненно оглашать покои дворца рвущимися из души рыданиями.

Лежал царь Петр в гробу, обитом золотым глазетом с серебряными галунами; одет был в шитый серебром белый парчовый камзол, в галстукее и в манжетах из брабантских кружев; на ногах – сапоги со шпорами, на левом боку – шпага.

Первые две недели покоился он в малой дворцовой зале, пока приготавлилась к траурному убранству особая большая зала, по стенам и потолку обитая черным сукном. Наружный свет не проникал в нее сквозь плотно завешенные окна, и мрак озарялся множеством зажженных свечей. У од-

ной стены залы возвышался под балдахинном трон о пяти ступенях, облицованных кармазинным бархатом. Одр для гроба покрывал златотканый ковер, полученный царем Петром в подарок от французского короля Людовика XV во время своего пребывания в Париже. По сторонам трона – табуреты с императорскими регалиями, а у ступенек – четыре бронзовые статуи, изображавшие опечаленных Россию, Европу, Марса и Геркулеса.

На страже у гроба попеременно стояли двенадцать сенаторов и генералов; несколько поодаль – четыре гвардейских офицера – и подлинно что *телохранителями* – двенадцать драбантов в черных мантиях и в шляпах с распущенным флером. Священник в полном облачении читал у трона Евангелие.

На приставленных к стене пирамидках было начертано от российского воинства: «Уснул от трудов Самсон могучий... Своим трудолюбием подал силу нам... Изнемог телом, но не духом».

От русского военного флота: «Нового в мире плавающего Иафета уже не узрим... Ныне нам воды – слезы наши. Ветры – воздыхания наши».

Не доводилось царю Петру при жизни пользоваться изысканной роскошью, зато на смертном его одре ознаменовано было все погребальным великолепием.

Надлежало по часам меняться людям, и неукоснительно строго должен был соблюдаться церемониал во все дни,

вплоть до дня погребения.

Надо было дать знать Москве о случившемся, и, запалив не одну тройку ямских лошадей, черным вестником явился в первопрестольную генерал Дмитриев-Мамонов. Крики, вопли слышались по московским подворьям, а, опамятовшись от горестного известия, некоторые смельчаки объявили о непризнании самодержавия за императрицей Екатериной и отказывались ей присягать.

– Ежели баба на царство села, то пускай бабы ей крест и целуют, а нам такое зазорно.

И особо упорными оказались раскольники. Они отговаривались от принятия присяги еще и тем, что платят двойную подать за свою приверженность к древнему благочестию и потому вольны-де проявлять непокорство. Дали таким супротивникам по тридцать ударов кнутом, опалили им спины горящим веником, но покорности не добились. Проявляя стойкость, раскольники лежали под пытками, закусив языки, и никак не соглашались признавать женскую самодержавную власть. Оказались еще и другие ослушники, заявлявшие, что Екатерина – царица некровная, неправомочная чужеземка и брак ее с упокойным государем был незаконный потому, что ее отцом крестным, воспреемником при обращении в православие был царевич Алексей, и выходило так, что царь Петр женился как бы на своей внучке.

Снова ожило поверье о подмененном русском царе, дополненное еще и тем, что будто не царь в Петербурге умер,

а некое подставное лицо.

– И, слава богу, что так, – крестился старец Филофей, пришедший из Изюмского монастыря, и заверял: – Истинный царь наш живой. Он в турецкой земле обретается.

Ему, Филофею, по его старчеству и всеблаготворности такое сонное видение было.

Живи теперь и жди – не нынче, так завтра еще что-нибудь несусветное произойдет. Старым московским жителям памятно многое. Вспоминался и тот, вроде бы уже давний год, коему три десятилетия минуло, когда с летевшими напрочь стрелецкими головами напрочь летели, рушились все былые устои, и за попытку сохранить старину едва-едва избежала кнутобойной расправы сама кремлевская верховодка царевна Софья вместе со своими сестрами.

Приверженцы старины седовласые московские бояре брюзжали: все российские неурядицы пошли с той поры, когда царь Петр по малоразумной своей младости связался с немцами-иноземцами, бражничал с ними да занимался разными потехами. Какое могло быть от того неразумия государству добро? Лишь разор один. И новый столичный город на краю света поставил, вовсе унизив Моству. Был боярин в том Петербурге, своими глазами видел на бесовском ассамблейном сборище, какими винопивцами окружен там царь. У адмирала графа Апраксина веселились. Потолок в палате был низкий, и дым от усердных курильщиков кружился, как в черной мыльне после затопу. Боярин как глотнул табачно-

го смрада, так и зашелся в неумемном кашле. Едва-едва отдышался. Ну и пили же там! И такое же безудержное винопитие вошло в обычай между другими знатными российскими домами, считай, что споили царя разными фряжскими зельями, а оттого и укоротился его век.

Ой, словно забывали бояре, а попросту говоря – кривили душой, порицая такое. Ведь еще Володимир Красное Солнышко изрекал, что веселие Руси есть пíti.

И еще ворчали старожилы: московские-де государи, предки царя Петра, сидели от черни далеко и высоко в своих богатых теремах, снисходя в мир подвластных им в блеске и величии, подобно божествам, а Петр Алексеевич смолоду одяние царское поскидал и к делам царственным стал неприлежен, понеже одни войны да забавы держались на уме.

– На нашей памяти и на наших глазах было, когда царь, возвратившись из заморской поездки, созвал к себе в Преображенский дворец именитую боярскую знать да со смехом, с демонским весельем обстригал ножницами бороды почтенным вельможам. Находились смелые люди, вслух пеняли ему, что такое поведение его зазорно, а он от того замечания только глотку смехом своим надрывал. Говорили ему: «Ты думаешь, что от такого веселья честь свою возвышаешь? Ан бесчестье творишь». Ну, а он на кого разозлится, бывало, того в Преображенский приказ на допытливость посылал.

– А я еще такое добавлю, что по всей спине дрожью оторопь пробежит. По доносу приходского духовника один тяг-

лец Садовой слободы винился, что при исповеди царское величество антихристом называл потому, что велел царь людям бороды сбривать и кургузое немецкое платье носить. И велел службы нести великие, и податями-поборами, солдатскими и иными нападками народ весь разорил. И в Приказах судьи одни неправды творят да взятки берут, а государь судей не унимал и за ними не смотрел. И на орленой бумаге пишут герб – орла двоеглавого, а о двух головах орла не бывает, а есть двухглавый змей, сиречь антихрист оный.

– Чего еще тут говорить, когда он, теперешний упокойник, самых лучших людей из боярского рода-племени перевел. Петербург велел в сапоги обуть, а Москву – чтоб в лапти.

– Монса под боком у себя держал, а он, Монс-то...

– Молчи! Теперь она из-под Монса главнейшей государыней стала. Это ль не страмота!

– Изменил царь Петр Москве-матушке, и нет у нас добрых слов, чтобы слезно упокойника вспоминать. К чужакам, вовсе к врагам, переметнулся он.

Жизнь в Москве все еще велась, как в давнюю старину. Явись к боярскому дому чужестранный человек с деликатным визитом засвидетельствовать свое почтение именитому хозяину, а тот, неприязненно выслушав приветственные слова, сведет насупленные брови и настороженно спросит: может, еще чего желает от него гость? Нет, ну и ладно. И ему, хозяину, до него никакого дела тоже нет, и пускай незванный человек отправляется к кому-нибудь другому. А услы-

хав, что гость иноземец, прибывший в Москву, скажем, из Ганновера, боярин пожует-пожует губами и отмахнется рукой: «Не слыхали про такую страну, да и слышать про нее не хотим. Ступай ты отселева, – и многозначительно поглядит на брехучих собак, одобряя их нетерпимость к постороннему человеку.

Толковали московские люди, подходя в своих догадках близко к истинной правде, говорили, что царица Екатерина испортила царя Петра и самосильно укоротила его земной срок. Донеслась до Москвы и такая весть, исходившая будто бы от петербургского дворцового всезнающего человека: когда государь почуял близкую кончину, то сам про себя сказал: «Было б еще пожить, да мир меня проклял».

И так еще говорили:

– Жесток был государь, а теперь от царицыного женского сердца народу жизнь полегчает. А вот ежели бы на трон царского внука Петра посадили, так он жестче деда бы стал. За погубленного отца своего всем большим и малым вельможам начал бы мстить.

– И было б то к лучшему. Давно пора со всеми врагами счета свести.

– Похваляют, что упокойный государь мудрый был, а в чем его мудрость? Затеял подушную перепись на безголовье себе самому, а всему народу на изнурение.

– Нет, я за царицу молить бога не стану. Царь – баба... Где такое видано? У иноземцев только, но они нам не указ.

Большого шума, как предвестника смуты, в народе не было. Недовольство царицей Екатериной ограничилось лишь такими малозначащими московскими сварливыми отголосками.

## II

Больше месяца пролежал царь Петр в траурной дворцовой зале, а в конце того срока подле него был поставлен гроб с телом младшей его дочери цесаревны Натальи, умершей на седьмом году от рождения. Заодно на каждодневных панихидах и отпевали их, царственных новопреставленных.

К дню погребения императора через Неву был наведен деревянный мост с перилами, обтянутыми черным сукном. С рассветом траурные флаги заколыхались у Петропавловской крепости и Адмиралтейства, и тогда же утром, по первому сигналу, подполковник гвардии вывел на Неву войска, назначенные для печального парада. В 12 часов прозвучал второй сигнал – быть всем на изготовке, а по третьему сигналу в 2 часа пополудни началось погребальное шествие. Одновременно был вынос и почившей цесаревны Натальи.

Накануне все питейные дома и кружала в городе позакрывали, что привело в смятение опечаленных винопивцев.

– Как же помянуть упокойников? – недоумевали они.

– Угощать потом станут, на поминках.

– Ври ты!.. Угощать... не праздник, чать... И когда потом, ежели теперь невтерпеж.

С некоторыми промежутками раздавались пушечные выстрелы, унывно перезванивали колокола, печально играла музыка. Траурное шествие открывали двадцать четыре гвар-

дейских унтер-офицера с алебардами на плечах, построены в четыре шеренги. За ними шли музыканты, придворная знать, иностранные посланники и негоцианты, представители русских городов. Шли ученики адмиралтейской навигацкой школы, которых выделяла особая форма: сермяжный кафтан с красными обшлагами, канифасные штаны, на ногах серые чулки и башмаки, на голове колпак из красного сукна. Над толпой развевалось красное военное знамя и высился желтый адмиралтейский штандарт. За знаменосцами следовали два рыцаря: один – конный, в вызолоченных латах, с поднятым мечом, другой – пеший, в латах черных и с мечом опущенным. За ними воины несли печальное знамя из черной тафты, а на досках – государственный большой герб и семь малых гербов, изображенных яркими красками с золотом и серебром. Затем следовало духовенство – от высших чинов иерархии до церковных певчих. Соборный протоиерей нес запрестольный крест, доставленный из московского Успенского собора для сего скорбного торжества. За духовенством двигались войска кавалерии – российской, польской и датской. Несли императорские ордена, короны царств – Сибирского, Казанского, Астраханского и регалии императорской власти: скипетр, державу, корону. И, наконец, под балдахином из красного бархата, увенчанный золоченой царской короной, следовал катафалк с гробом Петра I. За гробом шла опечаленная вдова-императрица со своей августейшей фамилией, и следом – шестьдесят бомбардиров.

Гроб цесаревны Натальи несли на руках.

Местом вечного упокоения Петра I и его дочери назначался Петропавловский собор, в котором была устроена деревянная церковь с особым катафалком под парчовым балдахинном. Тоже обитая черным сукном, церковь освещалась лампадами и свечами в серебряных паникадилах и шандалах.

Переступив церковный порог, громогласному плачу и рыданию задала тон сама императрица, пустив на высокой ноте затяжной вопль, и его рыдательно поддержали родовитые царедворцы, возглавляемые светлейшим князем Александром Данилычем Меншиковым. А тут еще архиепископ Феофан Прокопович, воздев руки, горестно возопил:

– Что се есть? До чего мы дожили, о россияне!.. Что видим? Что делаем?.. Петра Великого погребаем!.. – восклицал Феофан и сам ужасался неотвратимости происходящего.

Словно клещами, судорогой перехватило ему глотку, мигом онемел язык, прервалось дыхание. Напрягая все силы, с великим трудом сумел справиться архиепископ с одолевшей вдруг немощью, а в ответ на его скорбные слова волна стонаний и воплей колыхнула людские ряды. Глотнул Феофан широко раскрытым ртом побольше воздуха и снова стал обретать дар велеречивого изъяснения. Затихали людские рыдания, надо было слушать праведное слово преосвященного, и он говорил:

– Неусыпными трудами, денным и ночным попечением

Петра Первого, который в жизни сей кто и каков был, сей и ныне богомужественным действием жив российский Самсон, каковый дабы мог явиться, никто в мире не надеялся, но явившемуся весь мир удивлялся. Застал он в России свою силу слабою и сделал по имени своему каменной, адамантовою; застал воинство в дому вредное, в поле некрепкое, от супостат ругаемое, а ввел отечеству полезное, врагам страшное, всюду грозное, такожде неслыханное от века дело совершивши, строение и плавание корабельное, новый в свете флот, но и старым не уступающий, власть же российскую, прежде на земле зыблющуюся, ныне и на море крепкою, самостоятельную сотвори...

– Так... Все – так... Истинно так... – шептали слушатели, не успевая вытирать слезы.

– Не весьма же, россияне, изнемогаем от печали и жалости, – повысил Феофан несколько окрепший голос. – Не весьма бо и оставил нас сей великий Монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство силы и славы его, которое вышеименованными его делами означилось, при нас есть. Какову он Россию свою сделал, такова и будет: сделал добрым любимую, любима и будет; сделал врагам страшною, страшна и будет; сделал на весь мир славной, славной и быть не перестает. Оставил нам духовная, гражданская и воинская наставления. Убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам.

Мысленно подтверждая каждое слово архиепископа,

вслушивался в его речь стоявший поблизости князь Михайло Михайлович Голицын, а Феофан все больше и больше входил в словоречивый раж.

– Да отыдет скорбь лютая. Петр Великий в своем вечном отшествии не оставил россиян сирых, – уже торжествующе гремел голос Феофана, окрепший в полную мощь. – Како бо весьма осиротелых нас наречем, когда державное его наследие видим, прямого по нем помощника в жизни его и подобокровного владетеля по смерти его в тебе, милостивейшая и самодержавнейшая государыня наша, великая героиня и монархиня и мать всероссийская! – с подобострастным поклоном обратился он к Екатерине. – Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быти подобной Петру Великому. Властительское благоразумие и матернее благоутробие твое и природою тебе от бога данное ему неизвестно!

«Заврался поп», – с укором посмотрел на него князь Михайло Голицын.

Кому из собравшихся неведомо было, что, вопреки льстивым глаголам столь угодливого архиепископа, Екатерина не была названа царем Петром его преемницей, а восшествие ее на престол воспоследовало далеко не правым образом. Какое самому Петру слушать такое?.. Хотя и мертвый лежит, а слышит, о чем говорят, и будет слышать до той самой минуты, покуда его земле не предадут. Приподняться бы ему да крикнуть: «Чего врешь, кудлатый!.. Так сладкоречиво по-соловьиному заливаешься, а перед кем?.. У нее, подлой, столь-

ко лет Вилим Монс в амурной близости был».

По церкви стало раздаваться торопливое покашливание будто сразу же застудившихся прихожан. Многим из них резануло слух явное несоответствие слов Феофана по сопоставлению их с памятной всем жизненной правдой. Он ведь и тогда, во время коронации Екатерины в московском Успенском соборе, не убоившись бога, произносил лживые слова, называя Екатерину *честным сосудом*, преданно-верной венценосному своему супругу, тогда как у нее *честности* давно уже и в помине не было.

«Ну, дела твои, господи! – втайне возмущались, но покорно потупляли глаза многие из великознатных вельмож. – Ни стыда нет, ни совести».

А находившиеся в свите императрицы наиболее влиятельные царедворцы во главе со светлейшим князем Меншиковым с благодарной благосклонностью смотрели на своего сообщника архиепископа Феофана, помогавшего им возвести Екатерину на престол. Пожелав видеть главой Российского государства свою ставленницу, наперед послушную их воле, торжествовали Меншиков, Толстой, Апраксин, Головкин и иже с ними. Теперь все их тревобления оставались позади. На коромысле Фемиды недолго покачивалась судьба Российского государства, – кому править после смерти царя Петра?

Родовитые высокочнатные вельможи стояли за единственного мужского представителя царской династии, малолетнего сына царевича Алексея, видя в нем законного наследника,

рожденного подлинно что от царской четы. Надеялись еще родовитые и на то, что с возведением на престол царственно-го отрока можно будет отстранить от власти ненавистных худородных выскочек во главе с Александром Меншиковым. У некоторых, особенно злопамятных родовитых вельмож, лежало замысел: с воцарением малолетнего Петра Второго заключить Екатерину и ее дочерей в монастырь и расправиться со всеми ее сторонниками. И непременно, всенепременно низвергнуть Меншикова, как бы произнести приговор об опале, который наверняка произнес бы сам Петр Великий, если бы поднялся с постели. Косились на Толстого, как на главного виновника всех бед и несчастий, постигших царевича Алексея, и при возведении на престол его сына Толстой не мог ожидать ничего доброго для себя. Приходилось опасаться за свое благополучие и архиепископу Феофану, автору «Правды воли монаршей», в которой он выступал защитником меры, направленной к низложению права на престол сына осужденного Сенатом царевича Алексея.

Всем сторонникам Екатерины грозила бы жестокая участь, а самая страшная – ей самой. Ради собственного благополучия она должна была незамедлительно действовать, и к ней подоспели помощники, находившиеся в большой тревоге. Они, высоко поставленные царем Петром, проявляли свою решимость, многократно усилившуюся сознанием грозящей им опасности, и принимали все меры к тому, чтобы не допустить воцарения внука Петра.

Коромысло весов Фемиды склонилось в сторону овдовевшей императрицы, и она, огрузневшая за последние годы, перевесила худощавого цесаревича, только что выходявшего из детской поры.

«Вот она, победительница!» – стоя у гроба царя Петра, восхищенно смотрел Меншиков на Екатерину, предрешившую кончину царя.

... Да... А всему случившемуся она, Екатерина, да и он сам, Меншиков, навсегда теперь обязаны его свояченице, сестре жены, Варваре Арсеньевой. Она подсказала, когда и как надо действовать. И по ее наметкам все произошло. А после всего происшедшего и сама Варвара почувствовала облегчение. Перестала саднить душу неотомщенная обида, годами угнетавшая ее. Свела свои девичьи счета с царем Петром.

### III

Четверть века прошло с того дня, когда для ради увеселения и украшения мужского застолья, возглавляемого самим царем, Меншиков привлекал своих сестер, девиц Марию и Анну. Участницами веселых пиршеств бывали тогда и сестры Арсеньевы – Дарья и Варвара, а к ним добавилась плененная в городке Мариенбурге лифляндка, в замужестве Марта Рабе, называемая также Трубачевой, по своему мужу, военному трубачу.

Меншиков бахвалился, что отобрал ее у фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева и жил с ней в любви, находясь о ту пору в любви также и с Дарьей Арсеньевой.

Давно то было, а вспоминалось Александру Данилычу так явственно, будто не подвластное ни времени, ни забытию.

Сидя рядом с Варварой Арсеньевой, царь Петр сказал ей тогда:

«Не думаю, чтобы когда-нибудь и у кого-нибудь появилось бы желание обладать тобой, бедная Варвара, столь ты кажешься непривлекательной. Но так как я люблю все необычное, то не хочу, чтобы ты так и состарилась, не испытывав трепета любовной лихорадки».

И, не обращая внимания на сидевших за столом, не смущаясь тем, что Варвара была кривобока и горбата, повел ее в смежную комнату испытывать трепет обещанной лихорадки.

И тогда он, Александр Меншиков, понадеялся на совершенно невозможное: вдруг Варвара станет государыней-царицей, поскольку привередливому царю Петру наскучили отменные красавицы и он стал падок на нечто необычное. Тогда бы и он, Меншиков, женившись на Дарье, сестре Варвары, стал бы царским шурином. И казалось, что сие вполне возможно. Но придумалось все во хмелю, а потому не сбылось.

После Варвары взоры царя Петра обратились на лифляндскую пленницу. В первое время он платил ей по дукату за свидание, а потом она уже без платы поселилась в его доме насовсем.

Петр понимал, что из желания непременно угодить ему придворные несколько преувеличивали красоту Екатерины – будто уж лучше такой и найти невозможно. Нет, не такая она красавица, чтобы ее золотой рамой окантовывать да глядеть-любоваться, не отводя глаз. У нее черты лица не зело правильны, но во всем ее облике неуловима и в то же время неотступна притягательная сила, и таится она то в бархатистых, то тмяно-томных, то в искрящихся ее глазах, а над ними – стремительный взлет густо-черных бровей. Как бы задорен чуть-чуть вздернутый нос и страстны припухшие, всегда алые, будто запламеневшие губы. Нежная округлость подбородка, легкий румянец на щеках, вся ее осанка и такая естественность ни для какой другой женщины неповторимых движений, точно бы замершая и приподнятая в глу-

бочайшем вздохе, словно все еще девичья грудь, – все влекло к ней и держало в неослабном напряжении чувственность Петра, по-настоящему пробужденную только ею. Такой, постоянно манящей к себе, была Екатерина и для него, Александра Меншикова, но не соперничать же было ему с царем!

За минувшие годы старели люди, и многие уже покинули суетной сей мир, тем самым предупреждая и его, царя Петра, что не минует и он последовать за ними. Что говорить, уже перешагнул свой Рубикон, и жизнь пошла на убыль, и нечего ему, Петру, раздумывать да убеждать себя, что надобно жениться. Никакой ошибки в том не будет.

Почти целых десять лет он как бы испытывал свою невесту, приглядывался к ней, лучше узнавал ее характер, свойства и привычки, и на протяжении всех этих лет не было повода усомниться или разувериться в ее достоинствах. Она и уважала и бескорыстно любила его, не то, что прежняя московская его фаворитка из Немецкой слободы. Катеринушка-свет затмила ее собой и вытеснила из его памяти.

Многих прежних друзей и сподвижников уже нет в живых, а к иным из тех, кто пока еще с ним, он явно охладел, как, например, к прежнему неразлучному другу Александру Меншикову, и Петр чувствовал вокруг себя словно бы пустоту, которую могла заполнить лишь она, его Катеринушка, и он все крепче привязывался к ней. В своих частых отлучках скучал без нее, писал ей всегда добрые, ласковые письма, нежно называя ее: «Катеринушка, друг мой», «Катери-

нушка, друг сердешненький», и, словно в затянувшейся поре своего жениховства, посылал ей различные презенты, чтобы порадовать, доставить приятное. Тревожился и тосковал, если долго не получал от нее писем.

На краю гибели была императрица, когда ее фавориту Вилиму Монсу разгневанный Петр приказал отрубить голову. С какой плахи скатилась бы и ее голова или в какой дремучей монастырской глуши пришлось бы ей коротать свои оставшие годы, если бы только царь Петр поднялся с последнего болезненного ложа. Лишь в его смерти было бы спасение, и она поняла, уразумела это.

В последние годы Петр был особенно непримирим ко всяким расхитителям казны. Дружка своей юности князя Матвея Гагарина приказал повесить за то, что тот в бытность сибирским губернатором сумел присвоить несколько тысконок казенных денег. А светлейший князь Александр Меншиков втайне от царя держал в иноземных банках девять миллионов присвоенных рублей. На какой виселице покачивался бы он после дознания Петра об этом?..

– И твоя жизнь только в смерти царя Петра, – внушала деверю Варвара Арсеньева. – И, чем скорее произойдет такое, тем будет надежнее.

И он торопился. И торопил Екатерину. Только бы не оклемався, не поднялся Петр... Да, до конца своих дней они, спасенные его смертью, будут благодарить Варвару Арсеньеву.

Не Монсову сестру Матрену Ивановну следовало бы Ека-

терине держать приближенной к себе, а Варвару Михайловну Арсеньеву. И такое вполне пристало подсказать недогадливой императрице.

Меншиков глубоко вздохнул и истово перекрестился, воздавая богу благодарность за содеянное и уповая теперь на полное благополучие своей судьбы.

«Обращается в тлен все твоё величие, государь. Посыплют сейчас твоё тело землею, и навсегда оглохнешь ты, если даже, по людскому поверью, и слышал своим мертвым ухом рыдательные плачи былых твоих подданных. Прими последний их плач».

И он, Александр Меншиков, здесь, на людях, смахнул пальцем будто бы скатившуюся на щеку слезинку, на веки вечные прощаясь со своим государем. Отходи, царь Петр, к достославному своему родителю царю всея Руси – Алексею Михайловичу и к сводному брату, убогому согосударю на царстве – Ивану Алексеевичу, – радуйся загробному свиданию с ними.

Архиепископ Феофан отслужил последнюю в тот день заупокойную литию. Гроб с телом цесаревны Натальи опустили в могилу, а тело царя Петра присыпали землей, лишив его последнего общения с миром живых, накрыли гроб крышкой, разостлали на нем императорскую мантию и оставили на катафалке под балдахином посреди церкви. Больше гроб уже никто и никогда не откроет. До мая месяца быть ему здесь, а потом тоже в землю, в могилу опустят.

## IV

Бывший бомбардир – поручик Преображенского полка и царский денщик Александр Меншиков доброхотным произволением Петра I стал генерал-губернатором Ингрии, Карелии и Эстляндии, губернатором Шлиссельбурга, а потом и Петербурга, герцогом Ижорским, светлейшим князем, «суверенном в своем владетельстве», – как говорил о нем князь Куракин. В дополнение ко всему, Венский двор возвел Меншикова в имперские графы и князья, Копенгагенский, Дрезденский и Берлинский дворы слали ему свои ордена, и сам царь Петр, желая дать любимцу доказательства своего благоволения, удостоил Меншикова титулом герцога Ингерманландского, когда тот был уже первым статс-министром и первым генерал-фельдмаршалом армии.

Положение Меншикова при дворе было исключительным, небывалым. Он пользовался почестями, недоступными ни одному подданному. При его особе находились пажи и гофюнкеры из дворянских знатных семейств. Он был единственным мужчиной, получившим орден св. Екатерины, тогда как этот орден предназначался исключительно для дам. Учрежден он был Петром I в 1714 году в честь Екатерины, находившейся с царем во время Прутского похода. На оборотной стороне этого белого креста изображено гнездо с орлятами и два орла, разрывающие змей. (Теперь, когда самого

орла не стало, а число змей, шипевших вокруг вдовы-орлицы, все увеличивалось, Меншиков, нацепив сей орден, давал понять, что он готов стать опекуном над осиротевшими орлятами, и он старался быть им.)

Наделенный всеми чинами, титулами и богатством, светлейший князь никогда не забывал о своей пользе: на казенный счет покупал в свой дворец дорогую мебель и всякую домашнюю утварь, содержал лошадей и многочисленную прислугу. Открылись за ним некоторые противозаконные действия, допущенные во время управления Кроншлотом, – Петр отобрал от него выгодный табачный откуп и звание Невского наместника, а также отнял подаренные в Малороссии имения да велел заплатить двести тысяч рублей штрафа. Сожалел князь о тех деньгах, оказавшихся в ту пору у него в наличии, и досадовал, зачем не положил их в иностранный банк.

Был Меншиков обладателем более ста тысяч душ крестьян и четырех городов. Полководец и государственный муж, он был лучшим другом царя Петра, и тот души не чаял в своем Алексашке, хотя не раз поколачивал его дубинкой и грозил всеми карами за взятки в мирное время и за грабежи во время войны. Возмущенный его лихоимством, писал Екатерине: «Меншиков в беззаконии зачат, во грехах родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой». И все-таки многие годы был он самым близким Петру человеком, его правой рукой.

– Вороватая, но верная рука, – говорил царь, ценя в Алексашке преданность, смекалку, военную храбрость, и многое ему прощал.

Было у Меншикова на миллион рублей бриллиантов, сто пудов золотой посуды, а серебряную никто не взвешивал и не считал. Ничем светлейший князь не гнушался. Обосновавшийся в Петербурге богатый московский боярин Луков приобрел ореховую карету, изукрашенную узорчатой резьбой с точеными стеклами, и возбудил сильную зависть светлейшего. Захотел он получить эту карету, но Луков уступать ее не соглашался. Тогда, в отместку за его строптивость, Меншиков постарался лишить семейство боярина всех недвижимых имений.

Не умел князь ни читать, ни писать; выучился только кое-как подписывать свою фамилию, как бы рисуя пером буквы. А позже садиться за парту его удерживало княжеское звание. Но на людях, а того паче перед иностранцами, делал вид, что читает бумаги, и был первым из русских людей, избранных членом иноземной ученой академии. Петра I избрали во французскую академию в 1717 году, а Меншиков опередил царя на три года. Сам Исаак Ньютон в октябре 1714 года извещал его об избрании членом английского Королевского общества и писал ему: «Могущественному и достопочтеннейшему владыке Александру Меншикову, Римской и Российской империи князю, властителю Ораниенбаума, первому в советах царского величества, маршалу и управителю

покоренных областей, кавалеру ордена Слона и высшего ордена Черного Орла и проч. Исаак Ньютон шлет привет».

Но хотя избрание и состоялось, Меншиков все же не решился украшать свое титулование еще и словами о принадлежности к ученому Королевскому обществу. Секретарь Алексей Волков вел всю его переписку, попутно следил за «домовым приходом и расходом» и содержал письмоводительство «со всяким охранением нашего интереса и секрета».

В последнее время светлейший князь уже не имел надежды возвратить себе прежнее расположение царя Петра. Худо кончался их многолетний союз. Царственный друг готов был отобрать все, чем прежде так щедро награждал. Успел отстранить от президентства в Военной коллегии, и это было уже явным сигналом князю о начавшейся большой опале. Ну как не ограничится этим царь, а, лишив всех титулов и званий, лишит и богатства, переняв его на себя, на отощавшую свою казну, в коей все нехватки да нехватки.

По мнению Меншикова, неприязнь к нему началась у царя Петра с такого пустяшного случая, о каком, казалось бы, и подумать было смешно. В первую годовщину заключенного мира со Швецией на воспоминание о Полтавской битве выпрашивал он у Петра город Батурин, поскольку брал его штурмом. Надеялся получить город с предместьем, с уездом, хуторами и со всеми тамошними жителями. И как было подумать, что такая малость вызовет у царя раздражение

и упреки в неумном стяжательстве. Тогда к слову, кстати вспомнил царь Петр и такое, что по своей стародавности следовало бы насовсем позабыть. Лет десять тому назад вдова литовского гетмана Григория Огинского подала жалобу, что он, Меншиков, в бытность свою в Польше, воспользовавшись денежными затруднениями гетмана, купил у него за бесценок старство Езерское. Ну, и тогда же, по приказу царя, было то поместье вдове возвращено, и светлейшему князю приходилось только удивляться памятьвости Петра, будто ему, oprичь таких пустяков, в уме держать нечего. Припомнил тогда государь и свой неудачный Прутский поход, во время которого Меншиков не обеспечил армию провиантом, а потому люди и кони терпели бедствие от бескормицы. А он, светлейший, чем был занят в ту пору? Шарил по польским владениям – где что плохо лежит?..

И особенно большие неприятности у князя были с треклятым почепским делом. Думалось, ничего не случится, ежели прибавит он к своей почепской земле еще и земли чужие, да ежели лишит прежней воли живших там украинских казаков, обратив их в своих крепостных. Ему, как победителю, все дозволено. Но нашлись кляузники, подавшие жалобу на незаконные захваты земли и людей. Сенат снарядил на Украину межевщика Лосева, а тот, не будь дурак, за некую мзду и большое почтение к князю при проверочном межевании так спрямил его владения, что они стали еще обширнее. Казлось, все было узаконено тем межеванием, ан заартачился

гетман Скоропадский и в челобитной царю написал о фальшивом межевании, «коим был нанесен всему Стародубскому полку убыток, т. к. более тысячи казаков с их полями и сенокосами, мельницами и бортевыми лесами приписаны к владениям князя Меншикова».

Петр распорядился направить в Почеп другого межевщика, а схваченный для дознания Лосев признался, что покрывал захваты князя. Что было делать тогда светлейшему? Только и следовало, что признать свою вину и просить у царя прощения: «Понеже от молодых моих лет воспитан я при вашем императорском величестве и всегда имел и ныне имею вашего величества превысокую отеческую ко мне милость и через премудрое вашего величества ко мне призрение научен и награжден как рангами, так и деревнями и прочими иждивениями паче моих сверстников; а ныне по делу о почепском межевании по взятии инструкции признаю свою перед вашим величеством вину и ни в чем по тому делу оправдания принести не могу, но во всем у вашего величества всенижайше слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже кроме бога и вашего величества превысокой ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю и милосердие вашего величества».

Потрудился, попотел меншиковский писец-секретарь, составляя повинную, не один бумажный лист перевел в старании удачливее подогнать одно чувствительное слово к дру-

гому. А у самого светлейшего князя из-за опасения за дальнейшую свою судьбу были нервные потрясения.

Отношение его к царю сразу переменялось. Исчез прежний, зачастую шуточный и дружески-панибратский тон, а стал светлейший князь проявлять себя подобострастным послушным подданным его царского величества, но удрученное состояние и тревожное ожидание вполне возможной опалы серьезно расстраивали здоровье Александра Данилыча. С ним случались такие припадки, что лекари не надеялись, как он сможет пересилить развившееся недомогание. Началось кровохаркание – верный признак чахотки. Только и оставалось князю, что находить забытие от тревог в тяжком похмелье.

Но неожиданно для больного и для его лекарей болезнь пошла вдруг на убыль, и Александр Данилыч стал поправляться. Решив его проведать, Петр проявил прежнее дружеское расположение к птенцу своего гнезда – ведь большие заслуги имеет, нельзя его бесстрашной храбрости и смекалки в делах забывать, но в то посещение не преминул Петр и укорить в самых строгих словах за непохвальное поведение как его самого, так и ближайших его подручных.

Вроде бы при этом свидании они помирились, и Меншиков от умиления вытирал заслезившиеся глаза, но вскоре после того были схвачены все чиновники возглавляемой им Ингерманландской канцелярии, и опять светлейшего начал трясти сильный озноб.

По доносам фискалов арестованы были два сенатора за то, что под чужими именами брали выгодные подряды на доставку в столицу провианта и продавали его дорогой ценой, чем приключили народу большую тягость. В наказание им пожгли языки раскаленным железным прутом. Арестован был и подвергнут пытке петербургский вице-губернатор Корсаков, верный слуга Меншикова, и за допущенные Корсаковым плутни его публично высекли кнутом. Схвачен был главный комиссар при петербургских городских постройках Ульян Синявин, сумевший нажить большие деньги, и ходили слухи, что Меншиков потеряет свое Ингерманландское наместничество.

Поднаторевшие в лечебном умении врачи иностранного звания советовали князю в особой памятке: «Надлежит себя остерегать от многого мышления и думания, ибо всем известно, что сие здравию вредительно и больше, а особливо сия болезнь от того вырастает, ибо от таких мыслей происходит печаль и сердитование. И ежели кровь есть густа и жилы суть заперты, то весьма надлежит опасатца какой великой болезни».

А в своей среде иностранные врачеватели перешептывались:

– Князь Меншиков от страха и в ожидании неблагополучного исхода дела совсем осунулся.

– Но, похоже, сумел скинуть петлю со своей шеи. Говорят, получил полное помилование от государя.

– Что, возможно, весьма ненадолго, пока сатана его снова не искусит.

Петр обязал светлейшего вернуть казакам захваченные земли и оброчные деньги, прошелся своей дубинкой по его спине и объявил, что кредит князя непоправимо пошатнулся.

## V

Владения Меншикова приносили огромные доходы, но ему казалось все еще мало. Что проку в доставке крестьянами разной снеди да в получаемом с них оброке. Уразумел, что выгоднее перегонять хлеб на вино, чтобы поставлять хмельное в царевы кабаки и кружала. Широко занялся и другим предпринимательством, стал фабрикантом и заводчиком. Вместе с некоторыми купцами образовал кумпанство для ловли трески и моржей в Белом море и тщательно следил, чтобы не оказаться обойденным в доходах. Привлек к подрядным делам вельможных людей – адмирала Апраксина и канцлера Головкина, чтобы заключить подряды на поставку в Петербург продовольствия по весьма завышенным ценам.

Ознакомившись с выводами следствия по тому непристойному делу, царь Петр вынес решение: «За первый подряд ничего не брать, понеже своим именем учинен и прибыль зело умеренна. С подрядов, кои тоже своим именем обозначены, но с большой прибылью, – всю прибыль взять в казну. А кои обозначены под чужими именами, с тех взять всю прибыль да штрафу по полтине с рубля. Также и те деньги взять, кои взяты за хлеб, а хлеб не поставлен».

Такое решение поумерило предпринимательские старания Меншикова, а другие вельможи, втянутые им в кумпан-

ство, хотели чуть ли не вовсе с ним раззнакомиться. Часто, ох как часто гуляла царева дубинка по спине и бокам дружки и помощника – смелого, ловкого и необыкновенно способного светлейшего князя. На сообщение об очередном козыстном его поступке Петр говорил:

– Вижу, вина не малая, да прежние заслуги больше ее. – И предупреждал: – Смотри, Александр, в последний раз говорю: берегись! – Но «последний раз» продолжал повторяться.

Меншиков зачастую не знал, зачем призывает его царь Петр в свою токарную: то ли дружеским словом порадовать, то ли дубинкою огорчить. Петр говорил, что в его Алексашке два человека и оба большие: первый – на редкость храбрый герой, второй – до наглости смелый вор.

Был он, светлейший князь, герцог Ижорский, отважный человек, снискавший даже лихую славу фальшивого монетчика.

Французы писали о русском царе, что он всегда пьян. Петр делал пометку на таком сообщении: «Врут, каналы! Бывает, но не во все дни». А о Меншикове говорили как о пройдохе, расхищавшем казенные средства. С таким мнением Петр не спорил и тоже делал пометку: «Вор Алексашка, вор! Дознаюсь до всего, тогда несдобровать».

Люди, окружавшие царя, по его выражению, «играли в закон, как в карты, подбирая масть к масти и непрестанно подводили мины под фортецию правды». Это ожесточало, и он терял веру в людскую честность. «Всяк человек есть

ложь», – повторял он слова псалма Давидова. «Правды стало мало, а коварства много», и Петру казалось, что «ложь человеку» можно обуздать только «жесточью». И то было причиной необыкновенной строгости его законов и указов с обилием угроз жесточайшими казнями. Вешали, колесовали, рубили головы государственным татям, но зло не убывало, и ближайшие сотрудники царя были не без греха. Но стяжательства самых злейших лихоимцев были все же малозначительными по сравнению с тем, что позволял себе светлейший князь Александр Данилович Меншиков.

Очень пугало его начавшееся следствие о расходовании казенных денег в свою пользу. Всеми силами старался затянуть разбор того дела, и во все это время тревога не покидала его. Были ночи, когда он вовсе не раздевался, а сидел в своей спальне и прислушивался: не идут ли за ним? ... Приучил себя сидя дремать, заменяя тем сонное забытие. Вот-вот начальник Тайной канцелярии Ушаков появится. Были все основания полагать, что дело примет дурной оборот. В придворных кругах поговаривали о самом малом, ежели светлейший будет приговорен к вечному тюремному заточению. Но злорадство его врагов оказалось поспешным. Перед самой своей болезнью призвал его в последний раз царь Петр в свою токарную, и Меншиков подумал о наступившем часе расплаты за все и вся. Едва переступив дверной порог, бросился в ноги Петру, моля о пощаде и клятвенно обещая исправиться. Петр смотрел на него, уже тронутого

сединой, а видел прежнего, разбитного весельчака Алексашку. Тотчас забыв о многочисленных его проступках, вспоминая только заслуги, наложил на него лишь очередной денежный штраф.

Да, так... Спасение было только в смерти царя Петра, что и сбылось.

– Фу-у... – отдувался Меншиков, сидя в царском дворце за поминальным обедом и чувствуя свалившуюся с плеч будто бы непомерную тяжесть. Теперь он, распрямившись, мог легко и полной грудью дышать. Никакой опасности больше нет. При Екатерине он станет еще сильнее, чем был при Петре.

Президентство в Военной коллегии ему уже возвращено, и он хотел теперь как можно скорее прекратить всякое следствие по прежним его злоупотреблениям, потребовав всенародного объявления о снятии денежных штрафов, к которым приговаривали его за разные неблаговидности по нарушению казенного интереса.

## VI

Хотя и новомодным столичным городом значился Петербург, разбросанный по многим островкам, но с великой радостью променяли бы градожители многие столичные новшества на стародавнее житье-бытье.

Теперь, после смерти царя Петра за приверженность к старине, может, шибко карать не станут, – вот бы и передых в жизни был. Муторно проводить людям дни словно в нескончаемом половодье. Только успевай веслом огребаться – все вода да вода. Хорошо еще, что не довелось покойному государю все свои задумки в дело пустить, а то ведь намеревался он улицы на Васильевском острове водой залить наподобие венецейских сделать, чтобы по ним на лодках-гондолах плавать. А к чему такое? Зачем? Будто ему вокруг воды было мало и для ради того хотел еще улицы заливать. Сухопутный адмирал-генерал граф Федор Матвеевич Апраксин, утомившись поспевать во всем за своим (покойным теперь) царственным свояком, остановился отдышаться на жизненном перепутье и не решался, что делать дальше: продолжать ли путь, предназначенный царем Петром, или отрешиться теперь от него и обратиться вспять к памятно-привычному складу прежних неторопливых дел. Может, из Петербурга-то насовсем в град Москву возвратиться?..

Многие именитые господа дворяне уже одумались, обра-

тились лицом к старине, а тыльной частью ко всему новомодному. Пускай останутся недостроенными каменные дома, вытянувшиеся во фронт по улице, а на их задворках можно по стародавнему образцу поставить жильё на омшаниках. Снизу от крыльца вела бы в верхние сени длинная наружная лестница, а самые жилые покои состояли бы из двух горниц, отделенных малыми внутренними сенями. Одна горница для жизни хозяйской семьи в летнюю пору, другая – в зимнюю. Там и кухня с топкой хотя бы даже по-черному, а прислужливая челядь – в клетях да в подклетьях. Ничего, жилали так испокон веков. Где кучней, там теплей.

А то размахнулись было на новоманерные комнатные анфилады, на залы да будуары, где в зимнюю стужу только волков морозить. Нешто можно такое подворье до теплоты натопить! Пускай уж светлейший князь Меншиков в палатах таких прохлаждается, поскольку возвел высоченную домовую махину на Васильевском острове близко самой реки Невы. Он по иноземным городам много чего навидался, и ему привычно роскошествовать во дворцах, пускай и здесь так живет, на то его воля. Он не посовестился даже того, что его дворец намного превосходит жильё императорское как по величине, так и по богатому убранству покоев. Заплутаешься и не обойдешь все меншиковские апартаменты, блистающие золотом да серебром, украшенные статуями, живописными картинами, златоткаными драпировками, изысканной мебелью.

До этого у светлейшего стоял так называемый Посольский дворец. Всяких иноземных посланников и гостей где царю Петру принимать? У Александра Данилыча, а никак не в своем приземистом катухе. А уж как только не предлагали царю выдумщики архитекторы – и с колоннами, и с портиками, и с мраморной самоцветной облицовкой царский дворец возвести, и внутри тоже со всем роскошеством анфиладные апартаменты с высокими изукрашенными потолками построить, а царь приказал поставить себе низкорослый домишко с двумя небольшими покоями, прихожей и кухней. Только и удалось архитектору по-новомодному, как бы в голландском виде, выкрасить под кирпич наружные стены да на крытой гонтом крыше некоторые украшения сделать: поставить посредине деревянную мортиру, а по углам – якобы пылающие, но тоже деревянные, раскрашенные бомбы. Против такого царь Петр не стал возражать. Почти половину своей петербургской жизни он в том неприметном домишке провел. Это уж потом, по настоянию императрицы Екатерины, в углу Летнего сада был поставлен Летний дворец, а в самые последние годы – Зимний, где и жизнь свою царь скончал. А у светлейшего князя – диво дивное, чудо чудное возвышалось на Невской набережной.

Небывалый по высоте дворец в четыре этажа стоял под редкостной кровлей с крутым переломом, а его стены снаружи и изнутри украшены княжескими коронами и гербами. Начиная с парадной лестницы, роспись стен была «на вид

рамора», а на лестничной площадке – кованые решетки с переплетенными вензелями имен Петра и Александра. На стене в первой зале – красочный портрет молодого царя Петра, а на соседней стене – портрет Меншикова, изображенного во время битвы при Калише, с которой началась его беспримерная воинская слава, и олицетворял то геройское его возвышение вздыбившийся конь с восседавшим на нем князем, а музыканты трубили ему великую почесть.

Примечательной была в смежной зале гравюра, изображавшая застолье и сидевшего с бокалом в руке царя, а князь Меншиков, склонившийся в глубоком поклоне, представляет ему молодую особу, в которой угадывалась Екатерина, и в пояснительной надписи сообщалось: «Верноподданный уступает возлюбленному государю самое драгоценное из всего, что имеет».

С лепных розеток на потолке свисали чугунные паникадила, а в углах залы были украшенные лепкой каминны. Беда только, что они плохо обогревали сырые каменные помещения. Главным украшением стен во всех комнатах меншиковского дворца были до того еще не виданные в России изразцовые плитки, на которых глазурью нанесены белые с синим рисунки. Такие плитки изготовлялись в голландском городе Дельфте и оттуда доставлены в Петербург для дворца светлейшего князя. Во всю высоту – от пола до потолка – покрывали они внутренние дворцовые стены, и, разглядывая их, можно было как бы путешествовать по Голландии.

На каждом изразце своя, нигде не повторяющаяся картинка. Вот собравшиеся пересмешницы, голландские женки, уперев руки в боки, готовы залиvisto рассмеяться; на других плитках – шкиперы, плотники и иные корабельщики, рыбаки. А вон – торговки в белых чепцах и передниках предлагают полакомиться разной снедью; работные люди плетут сети, латают паруса, переносят груз в корабельный трюм, орудуют топором на верфи. Крытые черепицей дома, кирхи, корабли, мосты, воды в каналах и озерах, пенистые морские прибои, взлетевшие чайки, бакланы. И словно от всех этих видов морской свежестью веяло.

А вот на узорчатых изразцах распустились всех видов цветы, какие только цветут на голландской земле. А еще – вперемежку с изразцами – картины: «Праздник на воде» художника Якоба Старка, – изображено увеселение царя Петра и его подручного Александра Меншикова во время их пребывания в Голландии в давнем 1697 году. Тут же и «Бурное море с парусниками» – картина, изображавшая морской рейд в Амстердаме.

Всего во дворце более сотни комнат, отделанных и обставленных с невиданной роскошью и затейливостью. С лестничной площадки дверь вела в прихожую, из нее – в парадную приемную, потом была предспальня, за ней – спальня, и самая любимая хозяином – Ореховая комната, служившая как бы кабинетом и гостиной. Это – на половине самого светлейшего князя.

Многолюдно было во дворце по торжественным дням, когда разных чинов и званий, большие и малые вельможные люди торопились явиться, чтобы поздравить князя. В подражание царю Петру, любил иной раз Александр Данилыч сразиться с кем-нибудь в шахматы, и рассудительный партнер никак не считал возможным для себя обыгрывать светлейшего и тем самым задевать его тщеславие да как непременно следствие такого опрометчивого поступка испытывать потом на себе его неприязнь. Лучше сделать вид, будто допустил неверный ход, на что князь великодушно и снисходительно посмеется. Ну, и хорошо, коли так.

Из Ореховой комнаты с ее пятью окнами во все стороны, как с командного мостика корабля, виднелись Нева, Адмиралтейство, Петропавловская крепость и Галерная гавань с выходом в Финский залив. Бывая в гостях у светлейшего, императрица Екатерина любила проводить время именно в этой комнате, обставленной несравненно богаче, нежели у нее во дворце.

Обтянутые узорчатой кожей стулья по новомодному голландскому образцу, диваны да кресла с пружинными сиденьями, длинный дубовый стол с наборной из дорогих древесных пород столешницей, – все было новизной, заменявшей прежние скамьи по пристенью да столы на скрещенных козлах, все еще стоявшие во многих богатых домах. Прежние сундуки, служившие хранилищами меховой и другой рухляди, заменялись у Меншикова невиданными прежде комода-

ми да гардеробами, кои украшались высокими вазами с расписанными на них сказочной красоты птицами, как подобает то по восточному образцу. А в свободном уголке притулилась на виду у всех трость, собственноручно сделанная царем Петром по его царской выдумке, украшенная крупными изумрудами и алмазами с изображенным на ней княжеским гербом Меншикова. Больших денег стоила эта трость и подарена была царем своему любимцу после одержанной им калишской победы.

Но все же и от старины еще не так просто было отрешиться, а потому в цокольном этаже дворца размещались кладовые, чуланы, винные да пивные погреба и другие хранилища разных припасов, а в первом этаже – мастерские, большая и малая кухни, помещения для дворцовой стражи.

У царя Петра имелась токарная, ну и у Меншикова был токарный станок, а при нем умелец Филимон Архипов, как у царя – Андрей Нартов. Много было прислуги и другой дворцовой челяди. Только караульных солдат и капралов почти сто человек, да еще – матросы-гребцы, денщики, писцы и другие подручные. Обретались при дворце певчие, музыканты, повара, квасники и пирожники, собственные живописцы, умельцы резать по дереву и другие работные люди. Дворцовые службы тянулись на целый квартал.

В дни торжеств во дворце гремел княжеский оркестр. Застольные «виваты» сопровождалась пушечной пальбой. Гостей встречали и обслуживали сотни вышколенных и разо-

детых в богатые ливреи слуг. Ни у кого в Петербурге не было таких застолий, как у Меншикова. Бывало, что по два, по три раза в день накрывали столы. Сменялись залитые вином камчатые скатерти, серебряные и хрустальные блюда, вместо саксонского сервиза выставлялся богатейший английский, и сверкали дорогие кубки из разноцветного стекла.

Царь гордился своим Летним садом, но нисколько не хуже был в голландско-французском стиле регулярных парков, занимавший почти десять десятин земли, примыкавший к дворцу меншиковский сад с оранжереями и птичниками, зверинцем для охоты и другими увеселениями. Были в саду и крытые аллеи, подобные длиннющим зеленым залам, были и лабиринты, фонтаны и статуи. Городской Летний сад – общедоступный для всех градожителеев, а у Меншикова – его собственный.

Никто из самой высокой петербургской знати не имел таких богатейших экипажей и прекрасных породистых лошадей, как светлейший князь. Тщеславие не позволяло ему довольствоваться иным выездом.

Не было моста через Неву, и ее следовало переплывать на лодке. Против меншиковского дворца покачивалась на воде деревянная, раскрашенная под кирпич пристань. К ней приставали лодки, гондолы, баркасы с княжескими гостями; от той пристани отчаливал и сам светлейший князь, направляясь на Адмиралтейский остров. Большая гондола, украшенная искусной резьбой, имела вызолоченную каюту, обитую

по сиденьям зеленым бархатом. Двенадцать, а иной раз двадцать четыре гребца ждали княжеского сигнала, чтобы дружно взмахнуть веслами. А на том берегу Невы светлейшего ожидала тоже золоченая, с княжеской короной карета, запряженная шестерней лошадей в малиновой упряжи, окантованной серебром. Впереди кареты шли гайдуки, за ними – в бархатных голубых казакинях, отороченных золотым позументом, – пажи. Два гоф-юнкера княжеского двора сопровождали карету по ее сторонам, и шестеро конных драгун замыкали кортеж.

Ой, и далеко же было царю Петру с его обшарпанной двуколкой до столь пышного меншиковского выезда! Невзрачным был и царский Зимний дворец по сравнению с дворцом светлейшего князя, и выходило все так, что не царь Петр, а его подданный, бывший денщик, жил по-царски.

Под стать изысканному украшению дворца была у светлейшего его супруга княгиня Дарья Михайловна, урожденная Арсеньева, происходившая из старой дворянской семьи. Красивая, дородная, стройная, но, в отличие от ее высокомерного мужа, не было в ней надменности, а потому ее в семье как бы и не замечали. Управительницей всех домашних дел была ее сестра Варвара, малорослая и горбатая старая дева. Она пользовалась большим влиянием у сиятельного деверя и была самым доверенным лицом. Ни супруге, ни детям не полагалось сидеть за обеденным столом князя, и только для Варвары делалось исключение. Княжеские домочадцы

не огорчались такой недозволенностью, – вольнее было вести себя без строгого надзора.

Две дочери и сын светлейшего росли в роскоши, которой не знали дети царя Петра. Эта жизнь внушала старшей княжне Марии убеждение в исключительном значении ее отца, в первенстве их дома по сравнению даже с домом царя. Она видела всю петербургскую знать на отцовских приемах, самого государя и его семью, с самого детства привыкла к царским ласкам и милостям, к подобострастному поведению всех царедворцев. И блистательная ее будущность была определена еще четыре года тому назад. В непревзойденном этом петербургском дворце светлейший князь Меншиков торжественно отметил помолвку молодого польского графа Петра Сапеги со своей девятилетней дочерью Марией. Можно было определить судьбу и другой, младшей дочери, с добивавшимся ее руки принцем Ангальт-Дессау, но после некоторого раздумья Меншиков решил отказать жениху на том основании, что его мать была низкого происхождения, дочерью аптекаря.

## VII

После унывного поминального обеда за многолюдным царским столом Меншиковы возвратились в свой дворец. Утомленная печалью, Дарья Михайловна сразу же отбыла на свою половину, а светлейший поднялся к себе.

– Похоронили? – встретила его в прихожей Варвара.

Он молча кивнул, снимая с себя подбитую куньим мехом шубу, потом проговорил:

– Похоронили и помянули. Простились навсегда.

Варвара была вся в темном, скорбном, траурном. Кажется, даже потемнел ее лик, резко окаймленный черной косынкой.

– Давай и мы с тобой, Данилыч, помянем упокойного. Покой праху его, – перекрестилась она и первой направилась в Ореховую комнату к накрытому на две персоны столу, а на нем – кутья, оладьи, церковное вино. – Завтра уж стану докучать тебе своими розмыслами, а нынче – день такой. Не вспоминать – нельзя. С тем, может, скоро и сама умру, и выговориться надо. Не обессудь, Данилыч, что утрудишься моей жалобой, – уговаривала, упрасивала его Варвара.

– Оправдываться тебе не в чем. Говори, не томи себя.

Налили вина, благоговейно выпили, заели сваренной из обдирного ячменя кутьей с изюмом, и Варвара заговорила о том, что мучило ее, лишало сна во все те дни, когда царь

Петр лежал в своем дворце на смертном ложе. Только один раз приходила она туда на поклонение ему, усопшему, и, сославшись на непреодолимое недомогание, не пошла нынче в Петропавловский собор, где без нее на веки вечные свершилось расставание с покойным государем.

Помнила она тот день далекой давности, когда ей случилось быть в запретной близости с самим царем. Надеялась, что понесет с той встречи. Нет, не понесла. Теряла разум, будто бы баюкая ребеночка, а пробуждаясь от одолеваемого забытья, дивилась, что качает свою руку.

А была бы жизнь, полная благих и радостных забот, когда бы тешила младенчика и не в пустоцвете проводила б дни. И растила бы, выхаживала, может, царского наследника... Ах, Петр... Петр Алексеевич... Всю жизнь, все свои годы была верна ему, своему первому и единственному. И пусть бы Петр никогда к ней близко не подходил, она все равно всегда помнила бы те неповторимые минуты амурной лихорадки, испытанной с ним. И никакими другими воспоминаниями не спугнула бы из своей благодарной памяти того редкого случая.

Сначала удивлялась, что он при встречах – ну, хотя бы в шутку, – ни разу не обмолвился о той любовной лихорадке. Шел мимо и не видел, не замечал ее, склонившуюся в книксене, как будто ее не было совсем. Думала, что занят он своими мыслями, а потому и не задерживался для праздных разговоров, но происходило это не однажды. И тогда сама стала

избегать встреч с ним. Пряталась в самых дальних комнатах дворца, если случалось, что он навещался к ним.

Знала, понимала, что он – царь и все ему дозволено. Ну и пускай. Пускай бы все дворские девки, что зовутся теперь фрейлинами, его метрессками, наложницами были, – ни зависти, ни ревности к ним не питала. Только томилась и ждала неведомо чего. Что оставалось в жизни? Тоска да грусть, да скука скучная с печалью. Так и зачахла бы, скукожилась от думок.

– Любила ты его, – сказал Данилыч.

– Что ж было делать, – неопределенно повела она плечами. – Понимала всю свою убогость – кривобокая, горбатая, – а сердце кровью обливалось и смирить его нисколько не могла, – признавалась она Данилычу как на духу.

И тоже ведь – не питала ни ревности, ни зависти к Екатерине и никакой вражды к ней за то, что так близка к Петру, считая и ее простой метресской, каких у государя было много. Не смущала и женитьба на ней, – вон сколько детей прижили и всегда держали при себе. Чадолюбивый Петр, не отнимешь этого от него.

А когда появился у Екатерины Вилим Монс, она, Варвара, мстительно торжествовала и злобно радовалась такому унижению Петра. И, когда он на войне да в иноземных странствиях бывал, ей становилось легче. Порой даже надеялась, что не вернется никогда, – мало ли что могло случиться на чужбине. Но уезжал да возвращался он. А вот нагрнула вне-

запная беда над Монсом, и тогда решила, что надо уберечь, спасти Екатерину, да и над Данилычем меч нависал. Видела, как он в тревоге обретался, ожидая решения своей судьбы. И она, Варвара, нашептывала ему, как уберечь себя: в смерти царя Петра – его жизнь. Да и она, Варвара, получит, наконец, освобождение от неотвязных дум и сожалений. Смерть Петра облегчит всем жизнь. И свой совет дала – как быть, что делать.

– Спасибо, Варя, за твое участие.

– Да я и для себя старалась. Надо было, чтоб Петр ушел... чтоб увели его из жизни.

Осела и прижмурилась оплывшая свеча в шандале. Варвара поправила ее, подумала еще о чем-то, повздыхала.

– Хочь еще тебе сказать, Данилыч... Ведь все смышленее да все понятливей становится царевич Петр. Подойдет час, спросит: «Пошто, светлейший, Толстого в дружбе держишь при себе, когда он был и есть главный виновник гибели отца?.. Заманил его сюда да дознавался до всего. С пристрастием на дыбе дознавался. Или ты с ним заодно?..» Что скажешь малому?

– А ты что посоветуешь?

– Отправить посоветую, а самого себя обезопасить. Ушакову прикажи, чтоб под конвоем.

– Слово дельное. Подумаю, как быть.

– А так и быть, как говорю. Худа не присоветую, сам знаешь.

Меншиков долго еще сидел у поминального стола, думая о том, как скоро и просто предрешила свояченица судьбу Толстого. И предрешила правильно. Впереди с молодым царевичем вся жизнь, а не с Толстым, и скатертью ему дорога в дальний путь. Куда вот только? На какое поселение отправить?..

Начинался мартовский рассвет, решавший участь друзей и недругов светлейшего.

Что и говорить – не малая вина на царедворцах. Из огня да в полымя попадает Петр Андреевич Толстой, запутавшийся в своих винах.

Лежало на его деяниях одно пятно: при воцарении Петра оказался он, Толстой, в числе приверженцев царевны Софьи, но, должно быть, в счастливую и легкую минуту судил его молодой царь, простив тот грех. Как-то в час откровенности, припоминая прошлое, сдернул Петр с головы Толстого пышный парик и, похлопав ладонью по рано начавшей плешиветь толстовской макушке, проговорил:

– Эх, голова, голова! Не быть бы тебе на плечах, если бы не была так умна.

Толстой смущенно улыбнулся и вздохнул.

– Кто, государь, старое помянет... – и, спохватившись, замолк. Умная голова, а чуть было не вымолвила несуразное.

Петр знал недоговоренную присказку, но не рассердился, а весело засмеялся.

– Ну, нет... Хотя и помяну старое, а лишить себя глаза

не дам.

То было в прошлом. А теперь у царственного отрока, сына казненного царевича Алексея, пока еще беззаботно и бездумно проводящего свое ребячество, однажды в изумленных глазах вспыхнет мстительный огонь непреклонной, жгучей ненависти к человеку, вероломно заманившему отца на беспощадную расправу. И, конечно, не след ему, светлейшему, подвергать себя гневному осуждению за дружеские отношения с Толстым. Не знаться больше с ним и никогда потом не видеть.

Среди «птенцов гнезда Петрова» было немало людей, подобно Меншикову, происходивших из сословия «ниже шляхетства». Были и вовсе из «подлого звания», и один из таких – сын органиста в московской лютеранской церкви, в детстве даже пасший свиней, – Павел Ягужинский. Многому в жизненной карьере он обязан был своей красивой внешности. Посчастливилось ему однажды попасть на глаза тогда еще молодому царю Петру, и тот взял недавнего свинопаса к себе в денщики. Заметив в нем большие способности, царь повышал его в чинах и званиях, стал Павел Ягужинский именоваться с отчеством – Павлом Ивановичем, и, довольный его преуспеванием в делах, Петр все больше возвышал способного любимца, назначив потом даже генерал-прокурором Правительствующего Сената.

Видный, красивый, с живым и выразительным лицом, не умеющий кривить душой, Ягужинский в обхождении с

людьми всегда был независим и даже несколько небрежен, но это проявлялось настолько непосредственно и прямодушно, что не вызывало нареканий. Он за день успевал сделать столько, сколько другой не сделал бы в неделю. Не было случая, чтобы данное им слово оставалось втуне. Без хитрости и лести высказывал свои мысли, перед всевластными сановниками, и, если кто из них бывал несправедлив, смело порицал такого. Царь Петр называл его своим оком и говорил: «Если что Павел осмотрит, то это так же верно, как будто я сам видел».

С потаенной злобной ревностью относился к тому «государеву оку» Меншиков, но не мог ни отстранить его от властных дел, ни умалить в глазах царя его значение. Из опасения, как бы генерал-прокурор не проявил своих способностей в следственном розыске по его злоупотреблениям, Меншиков заискивал перед ним и старался заручиться его расположением, все больше накапливая к нему тайную ненависть.

Теперь надо было светлейшему избавляться от неугодных людей, к которым прежде всего принадлежал непокладистый генерал-прокурор. По своему ершистому характеру он в спорах и делах, не считаясь со светлейшим князем, проявлял себя особенно строптивым, когда случался «шумен» от горячительных напитков, к коим частенько прибегал.

И еще одно вспомнилось светлейшему.

Мог бы он давным-давно, еще в молодости незыблемо утвердить себя на самой высочайшей вершине всемогуще-

ства, став рядом с царем Петром. Было такое, было! Порвал Петр свою амурную связь с красавицей московской Немецкой слободы Анной Монс, а со своей лифляндкой еще не спознался и в том временном промежутке обратил благосклонное внимание на сестру своего Алексашки, на Анну Меншикову. Ан в том, казалось бы, успешно налаженном деле произошла осечка, и огорченный брат долго не мог смириться с превратностью судьбы.

Во время своего первого пребывания в Голландии царь Петр принял юнгу с португальского корабля Антона Девьера к себе на службу, определив его каютным малым. Стал потом Девьер денщиком и произведен был в офицеры гвардии. Увлечение царя Анной Меншиковой, к досаде ее брата, оказалось призрачным и мимолетным, и как раз в то время за нее посватался молодой гвардейский офицер Антон Девьер.

– Что?.. – возмутился и побагровел Меншиков.

– Прошу руки вашей сестры, – пояснил Девьер.

Оказалось, что и Анне он приглянулся, а это еще больше усилило негодование ее брата. Забыв свое собственное происхождение, он грубо отверг безродного юнгу и денщика и, почувствовав себя глубоко оскорбленным его сватовством, приказал проучить наглеца батогами, потому как высокой чести князя был нанесен большой урон. Но Девьер, взысканный многими милостями царя Петра, пожаловался ему, и Петр приказал Меншикову выдать за него сестру.

Вот и пришлось тогда сыграть свадьбу, только не такую,

о какой мог князь мечтать, не царицей стала его сестра, а супругой царского денщика.

– Горько!.. Горько!.. – озлобленно выкрикивал Меншиков на том ненавистном пиру, и уж ему-то эта свадьба приносила истинно что ничем не заедаемую и не запиваемую горечь. И послужила та свадьба к взаимной ненависти новообъявленных родственников.

В звании государева адъютанта Девьер был назначен генерал-полицмейстером Петербурга. При царе Петре враждующие стороны не могли вредить одна другой, но Меншиков ждал возможности расправиться с презренным зятем, и час тот подходил.

Давно зарился светлейший на украинский город Батурин, когда-то принадлежавший гетману Мазепе, но царь Петр отверг те притязания, нанеся князю немалую обиду. А заполучить теперь тот город было легче легкого. Едва он заикнулся о том Екатерине, и она распорядилась, чтобы кабинет-секретарь Макаров заготовил такой указ. А как могло быть иначе?.. Не могла же она отказать светлейшему в такой мелочи...

Прохаживался теперь Меншиков по своей Ореховой комнате от окна к окну, озирает Петербург и готов был над собой посмеяться: о городке Батурине хлопотал, о такой смехотворной мелочи, когда вот *его* город, раскинувшийся на побережьях реки Невы. Да и не только Петербург в его, меншиковском, владении, – властелином всего Российского го-

сударства может называть себя. Все теперь ему подвластно. Ему – светлейшему Римского и Российского государств князю, властелину и генеральному губернатору над провинциями Ингриею и Эстляндиею, генералу и главному над всей кавалерией, подполковнику Преображенского регименту и капитану бомбардирской от первойшей гвардии, и полковнику над конными и пехотными полками, генерал-адмиралу и кавалеру... Ой, сбился.. – и фельдмаршалу, Президенту военной коллегии, кавалеру всех русских и многих иностранных орденов, и прочая, и прочая, и прочая, – надобно ему расчитать дальнейший путь своей жизни от всего, что враждебно, мешает ему и стало просто неприятно.

## VIII

Иноземцев интересовало: пойдет ли Россия вперед по указанному Петром I пути или повернет вспять. Многие считали, что не следовало бы возвращаться к временам Алексея Михайловича.

На взгляд Европы, Россия была страной азиатской, на взгляд Азии – европейской.

В Дании были рады смерти Петра, а в Пруссии король Фридрих-Вильгельм загоревал: кто же ему теперь русских солдат-великанов пришлет?..

Соблюдая должный этикет, иностранные дворы спешили поздравить Екатерину с восшествием на престол.

Как только была закончена торжественно-скорбная церемония погребения Петра I, императрица изъявила милосердное прощение сестре казненного Вилима Монса – Матрене Ивановне Балк. Прощение было дано в форме сенатского указа на имя начальника Тайной канцелярии генерал-майора Ушакова, и в том указе говорилось: «Ради поминовения блаженные и вечно достойные памяти его императорского величества и для нашего многолетнего здравия Матрену Балк вызволить из ссылки, коея была определена ей по решению вышнего суда, но вернуть с дороги и быть ей в Москве».

Еще не оправившуюся от страха за свою жизнь, находив-

шуются на пути в тобольскую ссылку, Матрену Ивановну конвоировали со всей строгостью сержант с двумя солдатами, и вдруг им срочный приказ – повернуть назад. Осужденная преступница чуть было в уме не помешалась, решив, что судьи надумали дознаться о каких-то еще полученных ею поборах и, должно, придется ей, по примеру незабвенного брата Видима, тоже на плахе сложить свою голову. Ан вместо ожидаемой страшной участи ее оглушило никак не предвиденной радостью, и от такой внезапной перемены судьбы Матрена Ивановна испытала новое потрясение, едва преодолевая его надорвавшимся сердцем и помутневшей головой. Освобождены были от каторги и возвращались в Петербург канцелярист Столетов и шут Балакирев.

Должно, под счастливой звездой родился Ушаков. Давно ли на него, как на самого надежного застенного начальника, возлагал царь Петр разбор преступных дел Вилима Монса, и тот же Андрей Иванович Ушаков не только не вызвал на себя мщениа Екатерины, а ему же поручалось позаботиться о скорейшем возвращении недавно арестованных им лиц и переданных в руки заплечных мастеров. И Ушаков был одинаково ревностным исполнителем поручаемых ему дел.

Кому радость, облегчение участи, а вот бывшей царице Евдокии Федоровне не посчастливилось и после смерти царя Петра. Вслед за известием о его кончине последовало новое отягчение жизни опальной царицы. По приказу императрицы Екатерины монастырскую затворницу перевезли в Шлис-

сельбургскую крепость и поместили там в подземной тюрьме.

Она долгие годы содержалась в суздальском Покровском монастыре в условиях гораздо худших, нежели заточенные в Новодевичий монастырь царица Софья и ее сестры. Петр разрешил им иметь некоторые домашние вещи, прислужниц и определил помесечную выплату денег, а бывшей жене своей – ничего. Чтобы как-то существовать, она вынуждена была обращаться к родственникам: «Мне не надо ничего особенного, но ведь надобно же есть. Я чувствую, что я вас затрудняю, но что же делать? Пока я еще жива, из милости покормите меня, напоите меня, дайте одежонку нищенке».

Больная, изможденная, она имела в шлиссельбургской подземной тюрьме для своих услуг лишь одну дряхлую служанку, которая сама нуждалась в помощи и уходе. Опасалась императрица Екатерина, что Евдокию позовут на царство, – может, в Шлиссельбурге поскорей умрет. Да так оно, наверное, и случится. К кому обратиться ей теперь? Не иначе, как придется безвинно помирать в опальной нищете.

Еще с допрежней поры повелось управителям исчислять убытки, причиненные смертью царя. Было так от времен Михаила Федоровича и по день погребения царя Петра. В торжках бирючи кликали, чтобы люди в траур постились, даже рыбы не ели и хмельного ничего не пили. Во все похоронные дни кабаки держались на запоре, хотя то и приходилось казне убыточно. Но тайно в кружалах шинкарили.

Подсчитали в Сенате похоронные расходы и головой покачали. Пока царь Петр в затемненной дворцовой зале лежал, на изготовление свечей ушло сто восемнадцать пудов белого воска; для почти трех сотен персон были сшиты особые траурные одежды, на что потрачено около восьми тысяч аршин черного сукна. А на поминаенье сколько припасов пошло! Не похвалил бы покойный государь за такое расточительство. Он при жизни не баловал своих чиновных лиц, бывал глух к их просьбам о деньгах на любые платежи, даже по представительству, и предпочитал перекладывать казенные расходы на их собственные карманы, а тут получалось так, словно все разом обрадовались, дорвавшись до государственной казны.

Ну, все. Конец... Полностью отдана дань печали покойному царю. Погоревали осиротевшие птенцы его гнезда, вынужденные теперь надеяться на собственные крылья; потужили, покручинились верноподданные, но не безысходно уныние. Еще и еще раз пожелав, чтобы покойного царя с должным почетом приняли в царствии небесном, заказав в церквах сорокоусты, годовалое, а то и вечное поминовение усопшего и почувствовав некоторое облегчение от затянувшейся скорби, петербургские градожители стали возвращаться к своим повседневным делам. Прискучило и Екатерине изображать из себя неутешную вдову. Унывные поминальные обеды во дворце как-то сами собой сомкнулись с вечерними приемами, превратились в заздрав-

ные ужины, и для ради тех застолий не довольствовались кутьей да какой-нибудь постной похлебкой, а каждодневно ставились жареные, пареные и прочие разносолы, а императрица Екатерина вместо траура по три-четыре раза на день меняла свои царственные одеяния. И в часы тех застолий великознатные господа были заняты разговорами, услаждавшими слух.

Князь Борис Иванович Куракин, побывавший во многих европейских городах, удивлял российских домоседов, рассказывая им об иноземных диковинах:

– В городе Генуе, например, устроен превеликий фонтан: три лошади стоят на возвышении, и на средней из них стоит медный мужик, а у евоной лошади из языка вода течет.

– Из языка?

– Из языка. А у двух других – из ноздрей. И кругом тех лошадей понаделаны ребятишки махонькие, высеченные из мрамора. Сидят они и ту воду пьют.

– Из ноздрей какая?.. Поди ж ты, как удумано!

– Предивно, да... – восторгались слушатели, и за столь приятными беседами коротались тягучие вечерние часы.

А чтобы вовсе не было скучно, напоследок мартовского дня в темную предутреннюю пору градожителей разбудил набатный звон с Петропавловской колокольни. Пожары в городе случались довольно часто, но привыкнуть к ним все же было нельзя. Они всегда сопровождались немалыми бедами и заставляли пугаться не только робких.

В ту последнюю мартовскую ночь наспех выскочили люди из домов, глянули туда, сюда, а ни ближнего, ни дальнего зарева нет, набат же продолжал взахлеб надрываться. Что такое?.. Где, в каком месте горит?.. Нигде – ничего. Уж не супостат ли швед на город напал?.. Матерь божья, спаси и помилуй... И только под самое утро узнали всполошенные столичные жители, что это государыня императрица Екатерина Алексеевна подшутила над ними ради наступающего дня 1 апреля 1725 года.

– Вот так печальница безутешная, до чего додумалась!

– Да, недолго по супругу гореванилась.

– Теперь ей только веселье подавай, – осуждали императрицу многие верноподданные, но их попреки пролетали мимо ее ушей, не омрачая веселья.

## IX

Пожелала императрица Екатерина проявить свои государственные способности, самолично разобраться в накопившихся делах, и для ради того господина Сенат в полном составе собрались в одной из комнат Зимнего дворца.

– Ну-ка, Алексей Васильевич, доложи, что там у тебя, – обратилась Екатерина к кабинет-секретарю Макарову, перед которым лежала кипа бумаг первостепенной важности.

– Из Кронштадта вице-адмирал Сиверс написал, – начал докладывать Макаров, – что на поправку самонужнейших тамошних работ у него нет денег. Требуется тридцать тысяч рублей, а ежели не будут те деньги дадены, то там и больше разорится.

– Требуется... – скривил губы канцлер граф Головкин. – Нет того, чтобы почтительно испросить, он к Сенату, как к своим подчиненным, обращается, будто ему тут все подвластно.

– Хоть проси, хоть требуй, а где деньги такие сыскать? Сразу никак не придумаешь, – отягченно вздохнул генерал-адмирал Апраксин. – В допрежнее время из государева Кабинета брали, а нонче опустело там.

– Может, из почтовой конторы добыть?

– Искать надобно.

Пока господина Сенат раздумывали над этим, кабинет-секретарь продолжал докладывать:

– Начальствующий над типографией Михайло Аврамов доносит, что его типографские служители за позапрошлый год вместо денег жалованье себе казенными товарами и непроданными книгами получали, а в запрошлый год им вообще ничего не выдано. К тому же в типографской конторе бумаги и других потребных припасов больше нет и купить их не на что, а потому все пришло в вельми скудное состояние и мастеровые люди терпят нужду несносную, одежкой и обувкой зело поизносились и на работу им ходить не можно.

Задерживалась выдача жалованья не только приказным служителям, но даже в самом Сенате обер-секретарь Анисим Щукин жаловался, что он, не получая ни денежного, ни какого иного довольствия, «изжив все свое малое именьице, пришел в крайнюю нужду и мизерию».

Из Вологды сообщали, что ежели там приказным канцеляристам не выдать задержанного жалованья, то они «побегут врознь, и один уже сбежал из канцелярии, не имея чем жить и дабы голодом не помереть». Не получая денег от казны, канцелярские служители налагали свои поборы на городских жителей, множили воровство и разбой.

При жизни царя Петра у чиновных вельмож опасения не было, что в делах государственной важности не сойдутся концы с концами. Все были уверены в прозорливости царя: что бы он ни делал, какие бы новшества ни вводил, знал – когда и чем покрыть расходы, откуда и сколько взять денег на любые, пусть самые дорогостоящие начинания. А вот по-

хоронили его, опамятавались от лихого горя господа Сенат, и со всей неприглядностью вскрылись устрашающие последствия всеобщего разорения.

Указаниями покойного царя Петра надлежало руководствоваться господам Сенату. Петр завещал на многие будущие времена:

«Суд иметь нелицемерный, и неправедных судей наказывать отнятием чести и всякого имения; то же ябедникам да последует. Смотреть всем в государстве расходов, и ненужные, а особливо напрасные отставить. Денег как возможно собирать, понеже деньги суть артериею войны и жизни. Дворян собрать молодых для запаса в офицеры, а наипаче тех, которые кроются, – сыскать; тако же тысячу человек людей боярских грамотных для того же. О скрывающихся от службы объявить в народе: „Кто такого сыщет или возвестит – тому отдать все деревни того, кто ухоронивался“.

Никто не имел права жаловаться даже на явно незаконные действия Сената, приговоры которого являлись окончательными и невыполнение их или обжалование грозило виновным смертной казнью.

Обвинителей и обвиняемых по объявленному возгласу – «Слово и дело!» – надлежало сковать по рукам и ногам и за крепким караулом направлять в Преображенский приказ. По особо важным делам предписывалось пытаться с большим старанием, по маловажным – легче; людей подлого роду, твердых и бесстрашных в своем упорстве, пытаться силь-

нее, нежели тех, кои деликатного телосложения, и вести бы по ним большие расспросы с пристрастием, то есть с угрозой пытки.

Зачастую осужденные колодники содержались в тюрьмах под надзором сторожей из местных обывателей, а те не знали, чем колодников кормить, потому как денег для того не отпускалось. Но не помирать же осужденным с голоду, – и стражи отпускали их с утра на целый день для сбора милостыни или найма на однодневную работу. По договоренности со стражей те колодники на ночь возвращались в свою тюремную подклеть и, как правило, честно, под круговую поруку, выполняли это условие. Правда, редко, но случалось, что вышедшие в город, эти государственные нищелюбы укрывались в каком-нибудь потайном месте, душили сопровождавшего их стражника и, сбив колодки, убегали неизвестно куда. Тогда их место занимала обывательская стража, принуждаемая отбывать те же сроки наказания и тоже с колодками на ногах, выходила собирать на прокорм себе подавание.

Следовало Сенату упорядочить содержание колодников и пресечь непослушание и озорство канцелярских писцов, кои, например, на сенатский указ послать подьячего на розыск, шутейства ради, письменно отвечали: «И по тому указу подьячий не послан».

Порешили в Сенате так: подновить указ надобно, что, когда придет какая нужда в деньгах, то искать способу, отколь

взять их. Когда же никакого способу не изыщется, тогда, нужды острой ради, разложить потребную сумму на всех чинов государственных, кои большое жалованье получают.

– Недостроенной храминой оставил нам государь Российское государство, – мрачно произнес светлейший князь Меншиков, и многие сенаторы согласились с ним.

Денег, людского труда было вложено непомерно много, а от незаконченных дел никакого прибýtка нет. Для ради поддержания казны заставить прибыльщиков еще новые налоги придумать, так по старым вместо дохода одни недоимки, и от бесчисленных поборов не только полное изнурение угрожает народу, а чуть ли не гибель самому государству. Трудные дела, ох, трудные...

Поднялся генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский и взволнованно заговорил:

– Вот уже несколько лет хлебу род худой и от подушного сбора великая тягость народу. И происходит та тягость еще потому, что умершие, беглые и взятые в солдаты шесть лет тому назад считаются будто живущими в семьях. А вдобавку к тому, подушные требуются с престарелых, увечных, младенцев, от коих в семействе работы нет, а они в тот же оклад зачислены. В неурожайное время крестьяне не только лошадей и скотину, но и семенной хлеб вынуждены продавать, а самим терпеть голод. Сколько людей мертвяками на погосты спроважено и сколько в бегах. И ежели далее сего так продолжать, то всякому рассуждать надлежит, дабы тем

славного государства нерадивым смотрением не допустить в конечное бедство.

Был строгий указ: из Вологды, Великого Устюга, Шуи, с их посадов, с окрестных сел и деревень «выбрав плотников самых добрых и не малолетних, нестарых и плотничьего дела умеющих людей 500 человек со всякими их плотничными снастями выслать в Петербург на Адмиралтейский двор бессрочно. И чтоб 200 человек кузнецов приставлено было к кораблестроительным делам, и прислали бы их с женами и с детьми на вечное житье». Сколько времени прошло с тех дней, когда тот указ посылался, а работных все нет. В бегах они обретаются, к раскольникам да к гулящим людям подались, чтобы только не явиться в Адмиралтейство.

Меншиков, громко и сокрушенно вздохнув, сказал:

– Сколько ни трудился государь, но многое в делах его не учинено и скорейшего поправления требует. Нам работы те уготовлены.

Престарелый граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин был удручен такими суждениями о Петре I и посчитал их обидными его блаженной памяти. Насупившись, сидел Толстой, ожидая, что скажет Екатерина: даст ли достойную отповедь развязному злословию Меншикова?

Она сделала вид, будто ничего не заметила. Чтобы проявить себя заботливой и внимательной к нуждам народа, сооблаговолела исчисляя подушную подать не по 74 копейки с души, как то было установлено при Петре, а сбавить ее на

4 копейки.

– Матушка, милостивица, рачительница всенародная, – прижимал к груди руки и умилялся ее великощедростию канцлер Головкин. – Какой же великой любовью к тебе воздаст за такую милость народ!

– Ну уж ты, Гаврила Иваныч, что-то больно расчувствовался, – заметила ему Екатерина.

– Расчувствовался, государыня, истинно так, – подхватил ее слова Головкин и провел пальцем по будто бы заслезившимся глазам.

Ягужинский не разделял его умиления и считал необходимым значительно больше убавить подушную подать.

– Полки, содержимые на те деньги, находясь внутри государства, могут обходиться половиной жалованья, и офицеров надо непременно отпускать домой, – продолжал генерал-прокурор. – Также надобно не забирать в солдаты всех сынов, а хотя бы из младших братьев оставлять для хозяйства в доме. Тогда будут и крестьяне у государства в презрении, и подати они станут исправней вносить.

– Подлый люд был и будет в презрении и совсем не след его возвышать, – подал голос Апраксин.

– Не о презрении речь, а о призрении я говорю, – пояснил Ягужинский.

– Все одно, – отмахнулся от его слов Апраксин. – А чтобы мужики не убегали, надобно из них выбрать сотников, полу-сотников да десятских и круговой порукой всех обязать. На-

дежней всяких караулов будет, потому как все друг за дружкой станут следить. И нельзя тому стать, чтобы мужики не узнали, кого из ближних либо из дальних соседей можно не досчитаться потому, что они убегут. Любые их тайности станут на виду. Начнут хозяева свои пожитки перед побегом спроваживать, жен да детей снаряжать, тут их, непокорных, и схватывать.

– Фискалы следить должны, – добавил канцлер Головкин. – Все, что они проводывали, должно сообщаться в Сенат. Что ж они, своей выгоды, что ли, не знают?..

А выгода была явная. В указе о том говорилось: «Кто преступников и повредителей интересов государственных ведаёт, и те б люди без всякого опасения объявляли о том, только чтоб доносили истину; а кто на злодея подлинно донесет, тому за такую его службу богатство того преступника движимое и недвижимое отдано будет, а буде достоин будет, то дается ему и чин».

Не заманчиво разве? Да только что же он, фискал, не человек, что ли?.. Хотя ты с ног сбейся, а поспевай всюду. Да и оставить ничего втуне нельзя потому, что получится так, будто сам же ты от полагающегося профита отказался, мимо своего кармана пронес. И особенно это касалось уездных и земских фискалов. Они должны были еще разыскивать и доносить о всяких видах безнравственности, прелюбодейства, богохульства, заповедной продажи и о многом другом. Должен смотреть фискал, где и как попортились дороги, не по-

валены ли верстовые столбы, не проломлен ли мост, хорошо ли работают государевы мельницы, не пустуют ли кабаки, не шлятся ли как зря гулящие люди, кои в любой день могут стать воровской и разбойничьей татью. В пограничных уездах фискалам надлежало высматривать и проведывать, не прокрадывается ли на русскую землю шпион, не провозятся ли запрещенные товары, не намерен ли кто без проезжих листов уйти за границу. Обо всем указанном должен фискал своевременно доносить, получая со штрафных денег, наложенных на преступника, одну треть. Как же было не стараться, не хлопотать, забывая про сон и про отдых! Семейный человек обучал фискальному делу своих сыновей, видя в них верных добытчиков.

Но ведь недостаточно тому же фискалу крикнуть «Слово и дело!» – нельзя довольствоваться возведенным на кого-то поклепом, надо, чтобы уличенный признал свою вину, и только собственное его признание давало фискалу доход. Ну а ежели человек оказывался упорным, вины своей не признающим, то для смирения особо строптивых были испытанные средства; они, похоже, потому так и назывались, что от *пытки* шли, и можно было вести допросы с пристрастием: «вложа в застенке руки обвиняемого в хомут при огне для страха». Обвиняемый чаще всего не выдерживал пытки, и, признавая донос, иной раз сам возводил на себя вину даже в не свершенном им преступлении.

Случалось, что присутствующий при этом фискал диву

давался, будто провидцем он был и так легко супостата раскрыл.

В ведение фискалов придавались низшие полицейские чины, сотские и десятские, на обязанности коих было следить за появлением подозрительных лиц, забирать их, сторожить арестованных и конвоировать их в пути.

Было еще дополнение к сенатскому фискальному указу: «Буде фискал ради страсти или злобы что затеет, как злоумышление, и перед судом того, на кого напрасно возвел, обличен станет, то оному фискалу, яко преступнику, такое ж учинить, что довелось бы тому, кто по его доносу виноват был».

После того сенатского разъяснения у фискалов прить побавили, и стали они действовать больше тайно: тайно досматривать, тайно провеживать и тайно доносить.

А все же незаконные поборы не прекращались; фискал мог заглянуть в расходную книгу земского старосты и узнать, что издержано и в какой день: «1 сентября несено старшему писарю канцелярии пирог в 5 алтын да судаков на 26 алтын и 3 деньги. Старому подьячему пирог в 4 алтына 2 деньги, да другому подьячему пирог в 3 алтына». Но какой штраф с такого побора можно бы взять? Разве что судака. А вот у того же старосты в книге хитроумный подлог сделан: крысы в листе некоторые строчки выели, – знал староста, где следовало бумагу помаслить, чтобы зашельмованные сведения на корм крысам пошли.

В Петербурге на заставах рогаточные караульщики тоже мало-помалу фискальством промышляли: следили, все ли подводы, приходившие в город с припасами, доставляли положенное количество камней, – какой подводе – три, какой – пять, и те камни сдавались потом для мощения петербургских улиц. С возчиков, не доставивших «каменной пошлины», взималось по гривне.

Были фискалы в епархиях, следили, чтобы по приходским и соборным церквям не потакалось кликушам и бесноватым, чтобы невежды и ханжи не почитали за святые мощи недостойных того мертвяков и не вымышляли бы ложные чудеса. А то в самом Петербурге было: один поп разнес слух, что у иконы, находящейся у него в часовне, творятся чудеса. Господа Сенат призвали попа к себе с той иконой и велели сотворить чудо, но как чуда не произошло, то велено было отправить обманщика в крепость, наказать кнутом, а потом лишить иерейского сана.

– Может, сперва сана лишить? – уточнял Мусин-Пушкин, ведавший церковными делами.

– Нет, в поповском виде посечь, – сказал Меншиков.

– Господа Сенат, помилуйте меня, – взмолился поп. – Ведь не я чудо произвожу, а икона. Я-то ведь не святой.

– Оно и видно, что многогрешный, а потому за обман и получишь, что следует.

Но это все нарушения не столь важные, а вон в Мстиславском уезде, в селе Шамове, что произошло: некий шляхтич,

угрожая местному попу жестокими побоями, по своему произволу обратил приходскую православную церковь в униатскую. А в Оршанском повете еще того хуже: шляхтич со своими подвыпившими приспешниками явился в Лукомский монастырь, схватили они игумена Варлаама и одного иеромонаха, обрили им бороды и усы, и от такого надругательства над его святым чином игумен богу душу отдал.

Невесть что по уездам творится, – фискалы о том донесли. Польза от них явная и немалая. Немало денег передали они казне, переняв их от уличенных больших и малых прохиндеев. Разыскали в Монастырском приказе много тысяч старинных денег и несколько пудов серебряной посуды. Указывали на печальное положение многих торговых людей, когда «сильные на маломочных налагают поборы несносные, больше, чем на себя, а иные себя и совершенно обходят, от чего маломочные в большую нужду приходят, скудость и бесторжицу». Получалось так, что вместо старания выбиваться в первостатейные негоцианты, люди самовольно лишаются своего купецкого звания и бегут от непосильных тягостей хоть куда. Бегут в черкасские города, за Волгу, за Уральские горы, в Сибирь, имея там торги и промыслы.

Государство беднело без промыслов, а многие тяглые люди заботились больше о том, чтобы елико возможно уклониться от платежа денег в казну, и одной из немаловажных причин ее скудости было укоренившееся на Руси *кормление* воевод и других начальников.

Докучливым стало еще и то, что бездельно гулявшие люди как бы шутейно стали на улицах и в кабаках употреблять «Слово и дело» государское, грозя добрым людям: ежели не дашь гривну на вино, то не хочешь ли со мной ехать в Преображенский приказ?

Тут, в Петербурге, канцелярист Василий Федотов сделал донос на капитана Кобылкина о произнесении им мятежных слов. После доподлинного дознания о том зловердстве последовала Кобылкину смертная казнь с забором всего имущества осужденного. Но доносчик остался недоволен и даже жалобу в Сенат подавал: из наследства своей жертвы он получил комолую телку с початым стожком сена да пяток гусей, да еще от себя вдова казненного добавила охапку сырых дров. Канцелярист указывал на других доносчиков, чье усердие удостаивалось лучшей награды.

Или был такой Денис Салтанов – понравилось ему выкрикивать «Слово и дело», и он явил себе из этого как бы службу. Но за ложный навет сослали его на каторгу, а он и там крикнул «Слово и дело» на матроса Мешкова. Извет опять оказался ложным, и уж тогда присудили бить каторжанина Салтанова кнутом, вырвать ему ноздри и сослать в Сибирь, в каторжную работу навечно.

Опять потом о подушных копейках заговорили, и Екатерине обрыдло такое до зевоты. Сидеть да мужицкие полушки считать, словно самой уподобиться нищенству. Скучны такие дела, пускай уж сенаторы их решают, не докучая ей. И

как раз в эту минуту из соседних апартаментов послышался музыкальный наигрыш.

– Господа, послушайте... – приподнялась Екатерина и с настороженностью замерла на месте.

Сенаторы мгновенно смолкли, наострили уши. Что это? Музыкальная шкатулка заиграла?..

В дверях появилась фрейлина, бывшая дворская девка Фиска, а по-теперешнему фрау Анфиса, с улыбкой приседая в глубоком книксене, что означало приглашение.

– Пойдемте, господа, посмотрим и послушаем, – засуетилась Екатерина, торопясь на музыкальный зов.

Господа Сенат поспешили за ней и на пороге столового апартамента были встречены гулкими ударами часов, возвестивших полдень. И как бы в переключку с ними донеслась игра курантов Петропавловской крепости.

Курляндская герцогиня Анна Ивановна прислала большие настенные часы в подарок предражайшей и всемилостивейшей тетеньке государыне-императрице Екатерине Алексеевне. С нарочным почтовым естафетом, прибывшим из Митавы, было сообщено, что часы доставит Рейнгольд Левенвольд, доверенный курляндской герцогини.

Часы – на загляденье: с музыкальной мелодичной игрой перед каждым боем, с равномерно-вкрадчивым перестуком маятника, с изукрашенным червленым циферблатом, посреди которого стоял амур с колчаном стрел.

Красив, пригляден Левенвольд, доставивший подарок, а

потому уныние, навеянное было на Екатерину сенатскими делами, мгновенно улетучилось.

Объявили, что кушать подано, и за большим застольем с обильным винопитием совсем было забыто о делах, ради которых явились господа Сенат.

О, как приятно, что Рейнгольд Левенвольд – лифляндец! Она, Екатерина, сразу почувствовала в нем родственную душу. Знала, что он был в Митаве фаворитом Анны, – ну и что же?.. Разве за это можно осуждать его или ее? Должен же амур расходовать запасы своих стрел!

Молодостью, статностью, красотой Левенвольд напоминал Екатерине Монса, и казалось, что в голосе Рейнгольда слышались нотки Вилима. Может, потому любезная племянница и прислала тетеньке своего фаворита, чтобы она по достоинству оценила его и тем самым благосклонно одобрила бы ее выбор.

Потомок старинной лифляндской фамилии. Рейнгольд Левенвольд в ранней молодости служил в шведской армии, но после ее поражения под Полтавой решил перейти на сторону победителей и сумел определиться в курляндской резиденции при русском дворе. Страстный игрок в карты, танцор, мот и щеголь, он являлся неперенным участником кутежей, а на балах покорял сердца многих красавиц.

В Митаве курляндская герцогиня заметила разбитного лифляндца, и он умело воспользовался ее благосклонностью, оттеснив на время прежних ее фаворитов. Бирон легко

мирился с этим, а постаревший гофмейстер двора герцогини Бестужев сетовал, говорил:

– Соболезную, что я за верные мои услуги весьма забвению стал предан.

Избалованный красавицами, Левенвольд не смущался, что растолстевшая и рябоватая курляндская герцогиня имела весьма непривлекательную внешность, но надеялся при ее содействии оказаться приближенным к петербургскому императорскому двору. Это он придумал привезти настенные часы в подарок императрице от ее племянницы и преуспел в этом. С большой радостью был он принят Екатериной, и она, проводив после обеда господ сенаторов, оставалась с митавским посланцем.

Медленно позванивали куранты, отбивали свои удары часы, и в приятном общении с Левенвольдом вознаграждала себя Екатерина за лишения минувших дней. И в те стремительно пролетающие минуты шкодливый амур с часового червленого циферблата пустил метко нацеленную стрелу в томившееся скукой женское сердце, и словно бы вправду у Екатерины вдруг в боку кольнуло. К ее руке Рейнгольд припал с изъявлением верноподданности, и эти поцелуи надобно ей от руки себе на губы перенять. Слава богу, не мужняя жена теперь, никому не подвластна, а в полном значении и смысле слова – *самодержица*.

## X

Нет, совсем не тягостная жизнь. А ведь поначалу даже испугалась: ну, как не справится со всеми делами, не сумеет проявить себя достойной звания императрицы.

В прежние годы она во всем считалась верной сподвижницей Петра, многие распоряжения исходили как бы от них обоих, и она неотъемлемой и неотступной тенью следовала за Петром по деятельной его жизни. А вот не стало его, и, словно в потускневшем, бессолнечном дне, исчезла ее призрачная тень.

Попытала Екатерина себя в государственной мудрости, но от скучного слушания сенатских дел навевалась сонливость, и так хорошо, что курантные перезвоны сразу развеяли начавшуюся хмурость дня, обратив все на светозарно-радостное блистание вельми приятного провождения времени с куртуазным по обхождению кавалером, каким оказался Левенвольд. И куда как лучше, интереснее продолжать введенные еще царем Петром прогулочные поездки по городу, сопровождаемые пушечной пальбой и фейерверками. А по возвращении с такого гуляния можно во дворцовых покоях хоть в ночь, хоть в за полночь продолжать веселиться.

Потешно было, например, предложить княгине Анастасье Голицыной получить десять червонцев за то, чтобы она выпила подряд без малейшего промежутка на передых два

стакана английского пива. Падка княгиня на золотые монетки, и любопытно видеть, как она после пива осиливала еще полный стакан венгерского, на дне коего лежали пятнадцать червонцев. Потом еще стакан налили ей, а в нем уже двадцать червонных монет, но на торопливом глотке поперхнулась княгиня, выбилась из сил, и, к великому ее огорчению, те червонцы ей не достались. Вот смеху было!

И очень благодарна Екатерина светлейшему князю, что он охотно выразил желание взять на себя все главнейшие труды и заботы по сенатским делам, а ей, государыне, не утруждаться столь унылым занятием.

– Вот и ладно, вот и добро. Будь моим главным помощником, – говорила она Меншикову.

– Не привыкать стать в моих всегдашних пособиях.

Особые умельцы из мастеровых людей обгоняли технику своего времени. Мастер партикулярной верфи Алексей Бурцев предложил проект колесных судов, которые могли ходить «без замедления и безо всякой остановки» не только по ветру, но и против оного. Ефим Никонов, плотник Адмиралтейства, построил «потаенное судно», чтобы умело двигаться, будучи под водой. При спуске на воду повредили его в 1724 году, а на ремонт денег не отпускали. И, конечно, светлейшему князю привычно было вести разные государственные дела. Бывало – сколько переделывал он в отсутствие царя Петра, – можно считать и теперь, что государь как бы отправился в длительную и дальнюю поездку на тот свет, оста-

вив все заботы о государстве на Александра Меншикова.

Всего к 1725 году в России действовало больше двухсот промышленных предприятий, из них почти сто – металлургических, металлообрабатывающих, оружейных, пушечных; свыше сорока – железоделательных и медеплавильных заводов. И во все те дела ему, неграмотному князю, надо было вникать. И он сам, своим умом, постигал все и промышлял не без успеха. Помнилось, как приобрел он в Тотемском уезде пильную мельницу, винокуренный завод да соляные промыслы за сорок тысяч рублей и тут же передал все это в аренду вологодскому купцу Якову Хлебникову и в накладе не остался. Всегда и во всем смекалка выручала. Помолясь, перекрестившись, можно приступить к делам.

Обсуждали в Сенате, как надлежит теперь, после смерти царя Петра, держаться с иноземными посланцами: проявлять ли к ним учтивость или не скрывать своей высококородности, дабы они по-своему не фордыбачились и фанаберию свою не проявляли, а держались бы степенно.

– Вопрос сей многозначимый, – определил важность обсуждаемого старик Тихон Никитич Стрешнев. – Случается – себя унижешь: приветишь чужестранца со всем достоинством, как именитого, а он холоп. Плюнешь с досады, что обознался в нем, и своей чести от того урон получишь.

– Как велось при государе, так и вести, – сказал Ягужинский. – Об чем тут еще толковать?!

Меншиков только и ждал, когда выскажет свое суждение

генерал-прокурор, чтобы со всей резкостью возразить ему и попытаться вызвать на скандал.

– Враз рассудил, умней всех оказался, – скривил он губы в презрительной усмешке и кольнул Ягужинского злым взглядом.

– Рассудил, как есть.

– Видали? – воскликнул Меншиков. – Говорим, как с иностранцами держаться, а ты – своего, почтенного, по роду и по знатности высокочтимого – ни во что возвел.

– Кто сказал такое?

– Ты сказал. За непочитание да за твое зазнайство наказать тебя арестом надобно да шпагу отнять, чтоб ты опаматовался, – не унимался Меншиков.

– Чтоб я... меня... – задыхался от возмущения Ягужинский.

– Угадал: тебя, зловердного...

– Постойте, погодите... Чего вы взголчились?..

– С цепи... как, истинно, с цепи...

– Пошто?.. Зачем?.. – шумели господа Сенат.

Светлейший князь никого и ничего не слушал, продолжая поносить и унижать генерал-прокурора, а тот, посчитав ниже своего достоинства вести нелепую брань, сорвался с места и, громко хлопнув дверью, выскочил вон.

– За что ты так его?.. – допытывался у Меншикова Стрешнев.

– За то, за что надо. Вот за что.

День сникал к вечеру. В Петропавловском соборе шла всенощная, и молившиеся удивились, увидев быстро вошедшего в собор взволнованного генерал-прокурора. Тяжело переводя дыхание, Ягужинский остановился у правого клирота и, показывая рукой на гроб Петра, проговорил с дрожью в голосе:

– Мог бы я пожаловаться, да не услышит он, что Меншиков показал мне обиду. Хотел мне сказать арест и снять с меня шпагу, чего я над собою от роду никогда не видал.

Не было в живых царя Петра, не было у Ягужинского защиты, и он, не удержавшись, зарыдал.

– Ох... Яд гнева своего Меншиков на меня изблевал...

Оказалось, что он, выскочив из Сената, кинулся с большого огорчения в попавшееся по пути кружало и с остервенением осушил две кружки пенника, стараясь хмельной горечью залить горечь обидных меншиковских слов, и, еще больше растравив себя, пришел в собор жаловаться царю Петру на своего обидчика.

Дошло на другой день до сведения Екатерины, что Ягужинский шумствовал в соборе, и она сильно разгневалась. Кое-как уладили то скандальное дело, и верх был на стороне светлейшего князя.

А вскоре после того господина Сенат завели дебаты, связанные с требованием Бурхарда Миниха пятнадцати тысяч солдат для работы на Ладожском канале. С похвалой своим стараниям Миних писал, что сей великий и славный канал, ко-

ему подобного по ширине и глубине в свете не имеется, под его дирекциею уже совсем был бы отделан, ежели бы свое- временно сорок тысяч работных людей к месту прибыло, но из них лишь четвертая часть была.

Когда у царя Петра зародилась мысль о сооружении канала в обход беспокойного Ладожского озера, то Меншиков напросился возглавить то сооружение, и царь ему доверился, а через два года понял, что допустил ошибку. Меншиков потратил немало денег, по свой нерадивости погубил от голода и болезней много людей, а частично прорытый ими канал заваливало наносными песками. Пришлось Петру Меншикова от тех незадачливых дел отстранить и назначить на его место инженерного умельца немца Миниха.

– Там с Минихом работал и крестник покойного государя, Абрам Петрович Ганнибал, – сказал Апраксин.

Ибрагим Ганнибал – сын эфиопского князя, взятый турками заложником, был вывезен русским послом в Россию из Константинополя. Царь Петр изъявил желание стать его крестным отцом при обращении в православную веру, и эфиоп Ибрагим стал называться Абрамом Петровичем, получив отчество по крестному отцу. Был крестник любимцем царя Петра и его камердинером, а с годами, после обучения, стал выдающимся военным инженером. Под его руководством воздвигались укрепления в Кронштадте, Рогервике, велись работы и на Ладожском озере.

Неприятно было светлейшему князю слышать, что у Ми-

ниха все работы успешно продвигаются и он преуспевает в порученных делах.

– Потребность в солдатах явная, и надо завершить полезную работу, – поддержал требование Миниха генерал-адмирал Апраксин.

– Вполне необходимо делать это для уважения к памяти Петра Великого, – добавил Толстой.

– Ох, работы, работы... – сокрушенно покачал головой Тихон Никитич Стрешнев. – На войне от неприятеля столько людей не побито, сколько погублено на сырых работах.

– Верное слово молвил, – согласился с ним канцлер Головкин. – Войска с большими недостатками набираются все не для того, чтобы болотную землю копать.

– Главная причина та, – продолжал Стрешнев, – что солдат с военной службы не отпускают до самой старости или увечья, когда они домой возвратятся совсем слабосильными и ни в чем родным помогать не могут. Тут и дивиться нечего, что они от военной службы напрочь бегут.

– Они отовсюду бегут. Иные провинции точно войною либо моровым поветрием порушены, – мрачно проговорил Мусин-Пушкин.

– Но все равно без армии государству стоять невозможно, и в таком разе нечего жалиться, – заявил канцлер Головкин.

– Мы не жалимся, – пояснил ему Стрешнев, – а говорим, что солдат, язви его душу, бежит, – неожиданно выругался он.

– Пороть надо чаще, чтоб постоянно страх был, – советовал Апраксин. – Но поскольку Миниху солдаты надобны, то и говорить про то нечего. Такая работа для войска полезная, а то они теперь без войны, как без дела.

– Добавь, Федор Матвеич, еще и то, что у казны деньги сохранятся, кои пошли бы в трату на наем работных людей, – обстоятельно рассуждали сенаторы. – Одно только сумнительно, что Миних из немцев ведь.

– А что из того? Ежели деловой, так пускай хоть и немец он.

– Так и решим, чтоб уважить его просьбу.

– Нет, не так, – пристукнул ладонью по столу Меншиков. – Много слов вами потрачено, а я от имени ее величества кратко скажу, что в нынешний год ни один солдат не будет на канал послан. Для них другое дело предназначено, и всем вашим словам конец, можете расходиться, – закончил свою речь светлейший в резком, повелительном тоне.

Сенаторы расходились, оскорбленные проявленной к ним непочтительностью. Зачем же собирались, судили-рядили, когда все уж было предрешено. Волю императрицы Меншиков мог бы сразу им объявить, а он, умалчивая о том, словно глумился над их суждениями. Говорили, что не станут ездить в Сенат на посмешище.

Такая свара между вельможными людьми была еще в милость, а то даже кулачные схватки случались, сопровождаемые молчанием окружающих. Жаловался иной раз один на

другого:

– Бил он меня да всякими скверными лаями лаял.

– В шуму, должно, был.

– Где в шуму! Пили самую малость.

– Ну а он и в малости шумствует.

Вельможные люди ссорились, бранились друг с другом, слабый был подвержен глумлениям сильного. Все имели высокие ранги, брили бороды, одевались в немецкое платье и пудренные парики, носили треугольные шляпы и шпаги, но при новых костюмах полны были старых привычек. Подобно самому светлейшему князю Меншикову, все начальные люди смотрели на свои должности лишь как на средство хорошо кормиться. Были все дерзки на слова и тяжелы на руку, грубы и невежественны. В сенатских бумагах постоянные жалобы: один другого обругал площадными словами, на что получил в ответ бесчестье побоями. «Имел скорое касательство до уха и шеи своего супротивника». Самая отчаянная ругань и плевки сходили чуть ли не за милостивое отношение к обывателю, который довольствовался тем, что его обидчик не искровянил. Был в Сенате шум и по такому поводу, что один вельможный человек «неведомо с какого случая» поносил последними словами чиновного соседа за его бедность, а когда тот с достоинством ответил, что он-де богат божией да государской милостью, «понеже ранг свой заслужил от солдатства», то ему обидчик в ответ закричал:

– Черт тебя в оный ранг жаловал!

Ах, так?.. Ну, самая минута – «Слово и дело!» – выкрикнуть, ежели он самого упокойного государя Петра Великого с чертом поравнял.

Ну а ежели люди высокопоставленные, живущие при дворе, среди персон дипломатического иноземного звания позволяли себе все такое, что же могли проделывать в глухих углах чины и звания малые, но властелины отменные? А натворив злосилие и опамятовшись от всех своих зверств, надеялись, что все их грехи, жестокости и подлости можно с лихвой покрыть соблюдением постов да пудовыми свечами у образов с неугасимыми лампадами.

По Петербургу разнесся слух, что недовольные вельможи замышляют сломить значение Меншикова, а вместо Екатерины на престол возвести великого князя Петра, сына царевича Алексея, по малолетству ограничив его власть, и, будто бы для ради этого вот-вот начнется движение украинской армии, коей командует князь Михайло Голицын.

Екатерина перепугалась, видя опасность для себя. Надо было постараться ослабить недовольство вельможных лиц, обиженных светлейшим князем, учредить такое правительственное ведомство, в котором все сановники должны быть равными и решать дела лишь с общего согласия.

Наречено было такое ведомство Верховным тайным советом, с обговоренным условием, чтобы «никаким правительственным указам прежде срока не выходить, доколе они в Верховном тайном совете совершенно не состоятся». Но и

в этом случае светлейший князь не оказался ущемленным. Знала Екатерина, что при нем она может быть спокойной за свою судьбу, а он при ней – спокоен за свою.

Между сенаторами, не попавшими в число «верховников», было немалое неудовольствие.

– Это за что же нам такой афронт?..

Ягужинский был в отчаянии. По всему видно, что его отстранили в угоду Меншикову, с которым он не переставал враждовать.

Что же теперь ему – снова бежать жаловаться мертвому царю Петру?..

# XI

Трудно было родовитым и великознатным вельможам примириться с тем, что они оказались обойденными и теперь уже не у главных государственных дел, а вот немец Остерман преуспел в своем приближении ко двору. Тихой сапой подкрался он для услужения светлейшему князю и, хотя держался всегда вроде бы неприметно, а получалось так, что без него, Андрея Ивановича Остермана, государственным деятелям обходиться нельзя.

Был он сыном неприметного лютеранского пастора в маленьком городке Вестфалии. Посчастливилось получить образование в Йенском университете и поступить потом на службу к голландскому адмиралу Круссу, которому Петр I поручил командование своим флотом. Быстро изучив русский язык, Остерман стал весьма полезным своему начальнику, и тот, намереваясь устроить дальнейшую судьбу подопечного, рекомендовал его вице-канцлеру Шафирову для определения на русской службе в ведомстве иностранных дел.

В те молодые свои годы Остерман в подмосковном Измайлове был воспитателем дочерей царицы Прасковьи, обучал их обхождению и разным политесам. С легкого слова царицы Прасковьи стал Генрих Иоганн Остерман именоваться Андреем Ивановичем, и это имя сохранилось за ним на все по-

следующие годы. Был он русский немец, и ничто не тянуло его уехать из России. И был весьма расчетливым: в пост ездил обедать по знакомым, чтобы не держать дома скоромного стола, когда его супруга Марфа Ивановна ела постное.

При содействии Меншикова был Остерман вместо Шафировва введен в звание вице-канцлера, назначен главным начальником почт и директором комиссии по коммерции, а императрица Екатерина дала ему поручение наблюдать за воспитанием малолетнего великого князя Петра Алексеевича и быть его гофмейстером. Меншиков оказывал Остерману полное доверие и не имел никакого опасения. Зная о неприязни к себе многих вельможных семей, знал также, что они не любят и Остермана, как иноземца, и полагал надеяться на эту общую к ним неприязнь, которая как бы объединяла их и крепко связывала союзом дружбы, и что Остерман всегда будет держаться его стороны.

Но не разгадал светлейший, что Андрей Иванович был полон хитрости, притворства, способен на измену, был подвижен и вкрадчив в манерах и в разговорах, всегда расшаркивающийся и вежливо раскланивающийся, что среди русских вельмож считалось наилучшим политесом.

Ставшие «верховниками» господа сенаторы не очень-то склонны были к усидчивому труду, необходимому при изучении всех подробностей обсуждаемых дел, а вот немец Остерман с его прирожденной аккуратностью всегда готов выручить их леность. Он долгими часами корпел над бума-

гами, имея перед другими сановниками еще и то преимущество, что владел иностранными языками, писал и читал без запинки. А самое главное – никому не переступал дороги, до званий и чинов был невзыскательный, сидел, как канцелярский писец, готовый только на услугу. Никто из государственных мужей не мог так толково и внятно изложить любое запутанное дело, и такая у всех была досадливая жалость, ежели Андрей Иванович оказывался хворым. Нужно срочно решать очень важное, прямо-таки неотлагательное дело, а как к нему подступиться, чтобы не обмишулиться? Какой верный исход угадать? Что предпринять?..

– Где Андрей Иванович? Где?..

Внезапно захворал. Заботливая супруга Марфа Ивановна обвязала ему голову полотенцем, а сам он, для ради особой наглядности недомогания, натрет лицо фигами, чтобы оно стало серовато-желтым и даже с некоторой зеленцой. Каждый, кто увидит его таким, руками всплеснет да приужахнется, – краше в гроб кладут.

– Что же это такое?.. Андрей Иваныч, что с тобой?

А у него и голос хриплый, придушенный, отвечает с трудом. Ну, пройдут дни, важное дело окажется решенным без него, а Андрей Иванович как раз к тому дню выздоравливает.

В зависимости от обстоятельств – или одобрит решение или усомнится в нем, а то и осудит.

– Ай-яй-яй... Как нескладно получилось...

– Да ведь тебя не было, не подсказал.

Не накричит, не нашумствует, как бывало неводержанный Ягужинский, и не даст никому повода для обиды.

– Без тебя, Андрей Иваныч, как без рук. Как слепые мы.

И он ответит на это скромной улыбкой, радуясь тому, ежели дал дельный совет, хотя бы он был после времени.

Прибывший в Петербург князь Михайло Голицын отправился однажды отдать визит Остерману, когда тот сказывался весьма больным, и пришел в негодование, обнаружив всю лживость его хитроумной болезни. Стал строго осуждать его притворство, затеянное для того, чтобы не присутствовать на заседании, когда там так нуждались в его познаниях.

Со своей супругой Марфой Ивановной, урожденной Стрешневой, жил Остерман душа в душу, что было образцом для любой супружеской четы. Пиит Василий Третьяковский в честь Марфы Ивановны даже сочинил стишок:

Ну же, муза, ну же, ну,  
Возьми арфу, воспой Марфу,  
Остерманову жену

## XII

Коротко кашлянув ради прочистки горла, кабинет-секретарь Алексей Макаров стал читать заготовленный указ:

– «Понеже ее императорскому величеству стало известно, что в кулачных боях, кои ведутся в Петербурге на Адмиралтейской стороне, на Аптекарском острове и в других местах в многолюдстве, и многие люди, вынув ножи, за другими бойцами гоняются, другие, положив в рукавицы ядра, камни и кистени, бьют многих без милости смертными побоями, и такое убийство между ними в убийство и в грех не вменяется, также и песком в глаза бросают, а потому кулачным боям в Петербурге без позволения главной полицейской канцелярии не быть; а кто захочет биться для увеселения, те должны выбрать между собою сотских, пятидесятских и десятских и записывать свои имена в главной полицейской канцелярии; выбранные сотские, пятидесятские и десятские должны смотреть, чтоб у бойцов никакого оружия и прочих предметов к увечному бою не было, и во время бою чтоб драк не случалось, и кто упадет, то лежачего чтоб не бить».

– Так изложено? – спросил верховников Меншиков.

– В точности все обсказано, – подал голос Головкин. – Можно бы в пояснение добавить, чтоб били до первой крови.

– Поясним такое?

– Поясним, – дружно ответили верховники.

– Вот и быть по сему общему согласию нашему, – подтвердил Меншиков итог обсуждению заготовленного указа. – Переходим к другому делу. Докладай, обо что оно, – кивнул он Макарову.

Следующее дело было связано с доносом на новгородского архиепископа Феодосия. Доносил монастырский архимандрит, и его слова подтверждали другие священнослужители, что Феодосии, называя себя гонителем суеверий, забирал из церквей дорогие иконы, обдирал с них золотые и серебряные оклады и сливал в слитки; отбирал из алтарей серебряную утварь, а в Никольском монастыре, что на Столпе, распилил образ Николая-чудотворца. В соборном Софийском храме забрал из архиерейского облачения старинный саксос, шитый по атласу белому золотом, и с оплечья, с рукавов и с подолу жемчуга снял.

– Да как же у него, изверга, руки не отсохли, когда учинял такое? – негодовал Головкин.

– Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину пристало бы в том доподлинно разобраться, он по всем церковным делам в большом знании. Жалко, что не с нами он тут, – заметил Апраксин.

– Разберемся и мы, – недовольно покосился на него Меншиков и, призывая к тишине и порядку, постучал костяшками пальцев по столу. – Что с таким божьим хулителем делать?

– Допреже надобно подлинность доноса проверить.

– Само собой – так.

– И ежели такое надругательство над иконами въяви, то...

– Казнить самой злой-презлой смертью.

– Всемиловитейшая государыня обет богу дала, чтобы из лиц духовного звания смертью никого не наказывать.

– Тогда повелеть расстричь да сослать в самый отдаленный и глухой монастырь, да содержать там под строгим каравлом, как бы и на проголоди, чтобы он, окаянный, грех свой замаливал.

– Можно и так, коли все согласны, – объявил Меншиков.

– Знамо, согласны. Нехристи, что ли, мы!

Весь день трудились верховники, разбирая церковные неурядицы.

В селе Лопатки Воронежского уезда поп Анисим возмущал жителей, чтобы они утаивались от подушной переписи, а на ектиниях поминал покойного императора, называя его *имперетёр*, и так объяснял: *имперетёр*, мол, он потому, что много людей перетёр.

В Ишимской волости к раскольникам ездил полковник Парфентьев «для их увещевания и обращения к истинной вере и к церкви, а ежели не обратятся, то для взимания с них двойных податей, но те раскольники не послушались и сами себя сожгли».

Не одни раскольники, а и городские и посадские люди чаяли, что после смерти царя Петра в новое царствование придет на бороды послабление и можно будет свободно носить

их, хотя бы не больно длинные, ан нет, все равно было велено борозовую подать взимать, а с раскольников – в двойном окладе.

И в крестьянском быту никаких перемен не было. По-прежнему огромная страна была мало населена; по-прежнему подлого звания люди бегали от крепостной зависимости, и гоньба за ними составляла одно из важных дел правительства и самих господ помещиков.

Что ни заседание верховников, то опять и опять поднимался вопрос о беглых. Что с ними делать? Уймутся ли когда они, нечестивцы, – никак того не удумать. Прямо-таки до тошноты противно было вельможным людям заниматься бродячим сбродом. Ну, что еще можно сделать для острастки бегунов? Опять – кнут, батоги, ноздри рвать за незаконные их бесчинства?..

– Все дела о них пока отложим, – сказали кабинет-секретарю. – На досуге когда-нибудь разберем.

– Тогда рассудите о том, как направить торговлю, – предложил Макаров.

– Про торговлю – давай.

– Князь Куракин написал из Голландии, что не след к Балтийскому морю, к Петербургу оттягивать, а больше вести ее, как в былое время, в Архангельске.

– Тоже и такое дело не так просто решить.

– Надо снести с коллегиями, справки от них добыть.

– Вот. И учинить доклад о том Андрею Иванычу, потому

как способнее его к тому делу персоны не сыскать.

– А почему его нет нынче?

– Как на грех, опять захворал.

– Такие важные дела подоспели, а без него...

– Отложим их пока. Может, оклемается вскоре. Давай, что там другое?

Кабинет-секретарь откашлялся, взял бумагу...

– Начальника уральских заводов жалоба.

– Скажи лучше – кляуза, – поправил Макарова Меншиков.

– Зачитать?

– Читай. Чего он там хнычет?

И Макаров стал читать письмо Геннина, оскорбленного невниманием к нему, с чем он, Геннин, столкнулся в Петербурге после смерти царя Петра: «Я принужден напомнить вам, что мне стыдно так здесь шататься за мою государству радетьельную через 26 лет службу; я обруган и обижен, мой чин генерал-майорский в Военной коллегии и в артиллерии не вспоминается и не числится, живу без караульщиков и денщиков, без жалованья и не знаю, откуда получать, чем питаться в здешнем дорогом месте; и понеже я истинно признаю, что от моих сильных недугов принужден я терпеть печаль и ругательства разве за то, что я его величеству верно радел».

– В Военной коллегии не значится, – усмехнулся Меншиков. – Живет на отшибе, за горами, за долами, а мы его пом-

нить должны. Одно слово – кляузник.

Но то, что и Геннин оставался без жалованья, заставляло верховников призадуматься.

– Больно много управителей разных канцелярий и контор развелось, где же на всех денег набраться? Надобно их поубавить, – предложил Апраксин.

– И то правда.

– Развелось их – не перечесть сколько, а толк какой? Появились вон суды новые, и люди не знают, куда им обращаться. Канцеляристы не умеют справляться с делами, отсылают бумаги из одного места в другое, лишь бы видимость канительных стараний своих показать.

– Ему, судье-то, судить надо безволокитно, посулов и поминков не брать, друг другу незаконно не дружить, недругу какому не мстить, а он...

– Вон в суздальской канцелярии по казенным сборам вместо приходо-расходных книг валялись записки на гнилых лоскутах, и открылись непостижимые воровства и похищения. Ну, писца да копииста повесили, а что толку? Денег-то все равно не сыскали.

– Я тебе, Федор Матвеич, такое скажу: придет человек в канцелярию, а тамошний писец первым делом ему в руку глядит, не приготовлена ли у того благодарность, а потому и тянутся долго самые пустяшные дела, чтобы только побольше профиту писцу добыть.

Можно было господам верховникам вдоволь посудачить и

посплетничать на своих сходбищах и, подобно осуждаемым ими неурядливым волокитчикам, самим поволочить дело вместо скорого решения. Говорили – один складнее другого:

– Разных рассыльщиков по ревизиям поубавить надо, кои подобно саранче налетают на людей и буйствовать начинают.

– А я так считаю, что канцелярские ярыжки да крючкотворы, все их крапивное семя, пускай довольствуются мздою от тех, кто к ним обращается, за то проживут и без жалованья. Считаю, что так.

Так оно к тому и велось. Подошли верховные правители к мысли, что прежде, когда в губернии или в уезде полновластно хозяйничали воеводы, было лучше, проще и выгоднее государству. Воеводам жалованье не давалось, а кормились они за счет своих подопечных. Было так? Было. Значит, так тому и следует быть.

По указу воеводе надлежало быть человеком, наделенным многими добродетелями. Следовало уметь быть и толковым военачальником, и ученым архивистом, чтобы в деловые бумаги хорошо вникать, и даже своего рода летописцем быть. Должен воевода в доподлинности хлебные и другие торговые дела знать и собирать «куриозные гисторические письма», разыскивать их по монастырям, снимать копии с древних грамот и отсылать в Сенат; правильно судить и рядить своих жителей. Должен хранить деньги от собранных податей «в крепком безопасном месте, в сундуках с замками и печатями, за добрым караулом», а ключи от тех сундуков держать

при себе. Получкам и выдачам денег надлежало вести строжайшую отчетность, а за похищение казенных денег ему, как государственному татю, грозило лишение имущества, чести и самой жизни.

В правительственных указах говорилось о бескорыстном служении государству, но было известно, что выколачиваемые из народа деньги вместо употребления их на благое общее дело в немалой части оседали в карманах продувных ловкачей. Принимались устрашающие меры для борьбы с казнокрадами, а в стране, как велось все исстари, так и продолжало быть. Были воеводы, стали вместо них губернаторы, а толк один. Радовались они, получив такую должность, что будет им сытное, большое кормление. Радовались их жены и дети, а также ближние и дальние родственники, и дворовая челядь, что все станут безмерно сыты и часто одарены следуемыми им подарками.

Города, в коих надлежало проживать губернаторам, были несравненно более обжитыми, нежели новомодный Петербург, – не видать бы его никогда! Тут, в губернском городе, издавна сложившийся уклад жизни: съезжая или приказная изба, в какой прежде на жесткой лавке сиживал воевода, а ныне – в мягком кресле – глава губернии господин губернатор, но так же он судит и рядит; перед окнами его канцелярии быют на правеже неисправных плательщиков податей и должников разных прочих поборов. В Петербурге еще далеко не в каждом доме уют и всякие удобства для жизни,

а тут – добротное, сложенное из толстенных бревен жилье, при котором жаркая баня с предбанником, клетки с подклетами, подвальные хранилища и погребницы. А за частоколом усадьбы – посад, торговая площадь с земской избой, где старосты да старшины ведут повседневное управление людской жизнью; соборная церковь, где поп, протопоп и сам архиерей пекутся о спасении душ горожан; гостиный двор с господами купцами, из коих иные, не пожалев денег на пошлину, так и остались пышнобородыми, а не с постыдно оголенными лицами. Тут же кружечный двор и харчевня возле почтового ямского подворья и на виду прочно сложенная городская тюрьма. Все привычно, знакомо и возведено по ранжиру.

Прежде у воеводы, как и у многих бояр, на усадьбе жили свои портные, скорняки и башмачники, как велось такое, бывало, при московском дворе великих государей, где шили одежду и обувь дома, а чулки и рукавицы работали монашки Новодевичьего монастыря, кои были на это большие искусницы. Швальни и чеботарни заводили у себя и губернаторы и тоже по испытанному примеру Москвы подряжали какой-нибудь ближний девичий монастырь вязать чулки, варежки, душегреи, чтобы они всегда были внове, а никак не следовать срамному обычаю упокойного государя Петра Алексеевича – самому себе чулки штопать. И в большом и в малом – все много лучше в отдаленном губернском городе, нежели в новоставленной столице. И чем дальше от нее, тем обильнее и сытнее *кормление*. Самоуправствуй на свое

доброе здоровье сколь душе угодно. Можно и по-прежнему, стародавнему – воеводой себя называть. А в народе о воеводах так еще говорили:

– Воевода – вельможа властительный. Чего пожелает, то и быть. Наш вон – на шести женах женат. Женится на одной, а потом и выправит бумагу, что она будто померла, – на другой женится, а потом, таким же манером – на третьей. А сам жил с ними со всеми, какие и помершими значились. Ну, а после того вовсе и без поповского благословения еще других себе в жены брал. Ровно бусурман турецкий, вовсе обезумился и впал в ненасытный блуд.

– Воевода, истинно.

– Иным знатным по их неистовствам наказания чинены.

– Иным, да не всем. Ненажорные они, некалитные. Сядет на воеводство, словно из проголоди пришел. Только и знает, что давай ему и давай: к пасхе – на куличи, к Петрову дню – на жаренье, к успенью – на мед, к покрову – на брагу, к рождеству – на гуся, к масленице – на рыбу, к великому посту – на редьку да на капусту. Тыфу, ненажорный! На все дни у него запрос. А вдобавку к воеводе с его приказными, еще и поп со своим причтом – тоже требует. Сиди сам голодом, а их ублажай. Они такими поборами даже справных хозяев в голытьбу обращают. А не давать – нельзя. Как не дать, когда они и над животом и над духом властны? Помрешь – так не отпоют как следует быть.

– Да ведь в разор войдешь, коли всем давать будешь. Ни-

щербродом окажешься. Мы нового воеводу честь по чести хлебом-солью, вином и рушниками приветили – под рождество как раз было, – и он в те дни всех своих сродников отправил в уезд христославить, а с ними десяток порожних саней. Нагрузили их славельщики припасами разными, да еще им и денег давай. Все равно как разбойная шайка на село налетала, – жаловались на жизнь мужики, приезжавшие на городской торг. Там можно было наслушаться разных вестей со всех волостей, и все те вести не радовали никого.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.